



Центральная городская публичная библиотека  
имени А. П. Чехова  
город Таганрог

Сочинения. Вступительная статья, комментарии, публикация // Дон. 2000. - № 7-8

Книга в журнале

Нестор Васильевич КУКОЛЬНИК  
Сочинения



**Нестор Васильевич КУКОЛЬНИК**  
(1809—1869)

Русский писатель Нестор Васильевич Кукольник был соперником самому Пушкину, и слава его гремела по всей России, а ныне он забыт всеми. Часть своей жизни он связал с Доном, а последние 10 лет жил в Таганроге, где и умер.

В 1999 году исполнилось 190 лет со дня его рождения. Отечественное литературоведение ни, словом не обмолвилось по поводу этой даты. И это тоже повод, чтобы вспомнить об этом человеке. Родился Н. Кукольник в Петербурге в семье профессора, выходца из Австро-Венгрии, прибывшего в Россию по приглашению Александра I. Отец Н. Кукольника преподавал право и естественные науки, в том числе и Великим Князьям, одним из которых был будущий император Николай.

Достоверно известно, что Александр I был крестным отцом Нестора Васильевича.

В 1821 г. семья Кукольников переезжает в Нежин, где молодой Нестор поступает в только что открывшуюся Гимназию Высших наук кн. Безбородко, которую оканчивает в 1829 году. В том же 1829 году он начинает преподавать русский язык в одной из гимназии Вильно. Как преподаватель он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и даже написал учебник русского языка для литовцев, который долгое время с успехом использовался в учебном процессе.

В 1831 году Н. Кукольник переезжает в Петербург. Здесь к нему приходит литературная слава. Уже первая драма «Торквато Тассо» делает имя Н. Кукольника широко известным, а после премьеры драмы «Рука Всевышнего Отечество спасла» слава его признается официально. Ему рукоплещет не только высший свет, а сам Николай I. Посещение спектакля становится ритуалом благонадежности и верноподданничества.

И с этого же времени за И. Кукольником прочно и навсегда закрепляется слава реакционера, прославляющего официальную «народность», и главы «ложно-величавой школы». И это поневоле отодвигает на второй план все то, что вносит в русскую литературу Н. Кукольник.

Созданные в этот период драмы Н. Кукольника, которые долго [почти до конца XIX века] не сходили со сцены русского театра, можно разбить на две большие группы. Первая группа — исторические трагедии. Здесь представлены моменты русской истории, наиболее ярко показывающие процессы единения народа и власти. Естественно, что такие моменты приходится у Н. Кукольника на смутное время и время реформ Петра I. Вторая группа драматических произведений — это драмы о судьбе художника, где отражается фаталистический вариант, когда художник, гонимый и презираемый в жизни, получает признание только в конце жизни или после смерти. Отсюда персонажи трагедии как бы разбиты на две группы; в первой царит долг, верность, великодушие, во второй — явно противоположные качества (зависть, неискренность и т. п.).

В более поздний период творчества Н. Кукольник создает ряд произведений жанра малой прозы. Это повести и рассказы, в основном, из эпохи Петра I. Различные эпизоды из истории России показаны на живых — бытовых и языковых — приметах времени и изображены Н. Кукольником талантливо. Об этом свидетельствует отзыв такого строгого (по отношению к Н. Кукольнику) критика, как В. Белинский.

В этот же период Н. Кукольник создает романы авантюрного плана, рассчитанные на внешний эффект и увлекательность. Не ставя перед собой задачу, сделать роман «учебником жизни», Н. Кукольник стремится к тому, чтобы он был, прежде всего, средством отдыха и увлекательного чтения.

Необходимо отметить разносторонность увлечений Н. Кукольника. Он не только литератор (поэт, прозаик, драматург). Его интересы гораздо шире. Он занимается издательской деятельностью, выступает как художественный критик и искусствовед, имеет отношение не только к теории музыки, но и сам пишет музыку. В этом ему сильно помогает дружба с композитором М. Глинкой и художником К. Брюлловым. Организуются литературно-музыкальные вечера, в которых участвуют певцы, актеры, поэты, художники. Н. Кукольник пишет стихи для романсов на музыку М. Глинки (сегодня известно 14 романсов, в том числе романс «Сомнение»), участвует в создании либретто к операм «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».

К. Брюллов пишет иллюстрации к отдельным произведениям Н. Кукольника, а также портрет самого Н. Кукольника, считающийся шедевром и хранящийся сегодня в Третьяковской галерее.

Н. Кукольник и его друзья содействуют становлению молодых талантливых людей, помогают им утвердиться в искусстве. Назовем только фамилии Т. Шевченко (участие в выкупе из крепостной неволи), П. Гулак-Артемовский (певец), Н. Айвазовский (художник), Л. Серяков (гравер). Список этот можно продолжить.

В 1843 году Н. Кукольник поступает на службу в Военное Министерство. Как чиновник по особым поручениям, он выполняет ряд важных заданий по обеспечению провиантом действующей армии, в том числе и во время Крымской войны 1853—1856 гг. В 1847 г. Н. Кукольник прикомандировывается к штабу Войска Донского, и его постоянным местом нахождения становится Новочеркасск.

Этот период характеризуется активной деятельностью. К сожалению, ни сама эта деятельность, ни ее результаты до сих пор не получили объективного освещения. Обычно интересуются только литературной деятельностью и утверждают, что Н. Кукольник отошел от литературы и в конце концов умер в Таганроге всеми забытый. Между тем, в этот период внимание Н. Кукольника привлекает организация исследований каменноугольных и третичных толщ в Донбассе, строительство железных дорог, содействие атаману Хомутову в реорганизации управления Областью Войска Донского, состояние с образованием на юге России, выпуск здесь первой газеты и другие аналогичные проблемы. Дослужившись до чина Действительного Статского Советника, Н. Кукольник в 1857 году выходит в отставку. В это же время он так подводит итоги своей службы в дневниковой записи:

«На святой Руси все делают не свое дело, то и я отправился за тем же. Вместо того, чтобы писать исторические романы и драмы, учиться и готовиться к Истории, наконец, пожалуй, и служить по части науки, художеств, просвещения, высших служебных соображений, я отправился считать кули с мукою и смотреть, только смотреть, искусно ли плутают и мошенничают люди! Насмотрелся!».

И вот, наконец, Н. Кукольник в отставке. Он уезжает из Петербурга и оседает в Таганроге. «Как сладко быть человеком», — пишет он другу в письме. Он увлекается садоводством, избирается членом городского мостового комитета, продолжает заниматься литературной деятельностью. Много сделано Н. Кукольником и в плане, как он говорит, «высших служебных соображений». К результатам последних надо отнести открытие в Таганроге окружного суда и строительство Курско-Харьковской-Азовской (Таганрогской) железной дороги.

Сложился стойкий стереотип, что в период службы, а особенно после переезда в Таганрог, Н. Кукольник отошел от творческой деятельности и не создал никаких произведений. Это мнение ошибочно. Уже в начале своей командировки на Дон, Н. Кукольник создает пьесу «Ермил Иванович Костров»; роман «Тонки, или Ревель при Петре Великом». Несколько позже он создает драматические произведения «Денщик», «Морской праздник в Севастополе», «Маркитантка» и «Азовское сидение». Особенно интересно последнее. Н. Кукольник практически один из русских писателей обращается к истории казачества и описывает славный эпизод из этой истории. Он создает не просто драму, а фактически оперу, к которой сам пишет музыку, заслужившую лестную оценку М. И. Глинки.

Живя в Таганроге, Н. Кукольник не прекращает творческой деятельности. Здесь он создает драмы «Яковлев» и «Гофмейстер», которые идут на сцене российских театров. Он пишет либретто оперы «Красотка», представление которой на Петербургской сцене в 1865 г. становится значительным событием в музыкальной жизни России того времени. В 1861 году он публикует драму «Давид Гарик», а в 1865 году выходит последний прижизненный роман «Две сестры». Буквально в год смерти «Русский вестник» публикует произведение «Гатчинская маскарада». Уже после смерти Н. Кукольника опубликованы повести «Мориц Саксонский», «Ольгин Яр», «Крепостной художник», а также роман «Иоанн 111, собиратель земли русской».

Многое из написанного Н. Кукольником в последний период жизни не было никогда опубликовано, и утрачено. Сохранились только отрывки, а также отдельные произведения, которые хранятся в различных архивах.

Отечественное литературоведение до сего времени обвиняет Н. Кукольника в «ложно-приподнятой и выпренно-патетической манере». При этом совершенно не уделяется внимания тому, что нового внес в русскую литературу Н. Кукольник. В то же время даже краткое перечисление говорит о незаурядности этого писателя.

1. Н. Кукольник стоит у истоков русской драматической поэмы. Приемы и мотивы, введенные им в обиход, позднее найдут отражение в творчестве А.К. Толстого, Л.П.Мея, М. И. Цветаевой.

2. Н. Кукольник первый в русской литературе представил, новый тип авантюрно-приключенческого исторического романа, получившего блестящее воплощение в романах А. Дюма.

3. Н. Кукольник выступает предшественником историко-биографического жанра, что позднее получит развитие в романах-исследованиях Д. Мережковского, Ю. Тынянова, О.Форш.

4. Разработка литовской темы, связанной с восстанием 1863 года, носит пионерский характер. Здесь нет осуждения, которое имело место у его современников (например, М. Салтыкова-Щедрина).

5. Н. Кукольник в отдельных своих произведениях впервые поднял темы «лишнего человека» и «двойничества», которые впоследствии заняли достойное место в русской литературе.

6. Н. Кукольника надо считать одним из основоположников русской антиутопии. Им в Таганроге написан роман (рукопись, в основном, сохранилась), где персонаж живет как бы двойной жизнью — то в настоящем, то в вымышленном мире. Фантастические явления как бы являются второй стороной действительности, помогают заглянуть в тайники души.

Учитывая изложенное, надо согласиться с выводом харьковского исследователя И. Черного (1998), что творчество Н. Кукольника (особенно драматургия) должно рассматриваться как свое-образный буфер между российской литературой первой трети XIX века к второй половине XIX века.

Нельзя не упомянуть и о том, что в Таганроге Н. Кукольник работает в области музыковедения (дискуссия со Стасовым по поводу творческого наследия М. Глинки], публицистики (острые и злободневные публикации под названием «Азовские письма»). В настоящее время памяти Н. Кукольника уделяется достойное внимание. В местных газетах только за 1995—1999 гг. опубликовано около 100 статей. В 1998 на доме, принадлежавшем Н. Кукольнику, установлена мемориальная доска, единственная в России. В 1999 местным отделением филателистов к 190-летию со дня рождения Н. Кукольника выпущена немаркированная открытка с портретом Н. Кукольника работы К. Брюллова.

Митрополит Ростовский и Новочеркасской Владимир в 1995 г. благословил занесение имени Н. Кукольника в памятный синодик для вечного поминовения.

### СТИХОТВОРЕНИЯ

Из стихотворных произведений Н. Кукольника выходили отдельными изданиями только драмы. В 1851—53 годах автор включил подавляющее большинство из них в свое десятитомное собрание сочинений. Ранее выпущенные драмы «Тартини» и «Роксолана» в это собрание сочинений не вошли, так как не было разрешения цензуры, хотя ранее с этой стороны препятствий никаких не было. Не вошла в собрание сочинений и драматическая картина «28 января 1728», опубликованная еще в 1837 году.

Никогда не печаталась драма «Давид Риццио» (мемуаристы иногда ее называют «Мария Стюарт»). Драма эта осталась незаконченной. Записанная в особую тетрадь, она сегодня хранится в одном из отечественных архивов. Из этой драмы публиковались в различных изданиях 8 отрывков, один из которых («Кто она и где она?») был положен М. Глинкой на музыку и вошел в цикл романсов «Прощание с Петербургом».

Стихотворения Н. Кукольника как жанр никогда отдельно не издавались. Их можно найти на страницах различных периодических изданий, в силу чего многие из этих стихотворений практически не известны современному читателю.

Наиболее полное издание стихотворений Н. Кукольника было осуществлено в советское время. В 1973 году в серии «Библиотека поэта» вышел двухтомник «Поэты 1820—1830 годов». Во втором томе, этого издания помещено 38 стихотворений Н. Кукольника, в том числе фрагменты из драматических фантазий «Торквато Тассо» и «Джулио Мости». Стихотворения Н. Кукольника в сборнике «Поэты 1820—1830 годов» снабжены достаточно, полными научными комментариями В. С. Киселева-Сергенинаю.

В 1999 году в Таганроге к 190-летию со дня рождения Н. Кукольника Таганрогская муниципальная публичная библиотека им. А. Чехова ограниченным тиражом выпустила наиболее полное собрание стихотворений Н. Кукольника. Сюда вошло 103 стихотворения и отрывка из драматических произведений. Условно все опубликованные здесь стихотворения можно разбить на 3 группы: любовная лирика, патриотическая тема и романсы (на стихи Н. Кукольника написали музыку более 30 композиторов, где, кроме М. Глинки, есть Н. Титов, П. Булахов и Варламов).

Ниже публикуется 15 стихотворений Н. Кукольника. Шесть стихотворений опубликованы впервые. При отборе стихотворений была поставлена задача, чтобы они никогда после 1900 года не были опубликованы. Исключение сделано для стихотворения «К Леноре». У этого стихотворения интересная судьба. Напечатано оно в

1837 году и выражает душевную драму, которую переживал в это время Н. Кукольник в связи с тем, что его возлюбленная неожиданно вышла замуж за адмирала М. Лазарева. Хотя стихотворение «К Леноре» никогда не перепечатывалось, но среди бумаг Н. Кукольника после его смерти было найдено стихотворение, которое было опубликовано без названия в журнале «Баян», и позднее перепечатано в сборнике «Поэты 1820—1830 годов». Сравнение этого посмертно опубликованного стихотворения со стихотворением «К Леноре» показывает, что за тридцать лет с момента первой публикации в нем было заменено только три слова. Поэтому было принято решение перепечатать это посмертное стихотворение в его первоизданном виде под своим названием.

### **К ЛЕНОРЕ**

Есть имена любовника, супруга: Их ветхий смысл был дорог всем векам; Но ангел мой,  
простое имя друга Я предпочту всем этим именам.  
Нет! Не хочу и этого названья: И в дружбе есть корыстные мечты,  
А у престола чистой красоты Преступны и чистейшие желанья.  
Нет! Бог с тобой! Любовью безыменной Доволен я; мне нечего желать.  
Есть слезы у меня; твой образ несравненный, Живою памятью так верно сохраненный, И  
горькое умение — страдать.

1837

### **ЭЛЕГИЯ**

Прошла любовь, стихотворенья. Гремят, как клир о мертвецах, И в звучных улеглись  
стихах. Души бывалые волненья. Не так ли волны-берега. Беснуясь, режут грудью  
стекляной; Пришел мороз — и в глыбе ледяной Застынет буйная волна?

1839

Не раскрывается без горщей благодати. И на живых трудах художества жрецов Лишь  
бедный чувствами не разберет следов Премудрости таинственной печати.  
Искусство — истина в невянущих цветах! Как хочешь одевай: колючей колесницей. Иль  
пышно сотканной из радуг багряницей, Исчезнет твои покров в божественных лучах!  
Святая истина — одна в своей святыне! И храм той истины и чист, и прост, и свят!  
Жрецы художества от века и доньше Дар верный в чистоте хранили и хранят. Зато — на  
паперти — чернь грязная бушует; Корысть несытная и тут гнездо свила;  
Произведеньями поддельными торгует... Художества тут нет; тут рынок ремесла.

О, мать добрая, возлюбленная бога, Россия славная! Гнилой соблазн не смел  
Коснуться твоего священного порога! Тысячелетие — твой грозный колосс зрел!  
Тысячелетие — боролась ты с врагами... На камне строенный, увенчанный крестом.  
Одетый доблестью, возрос твой крепкий дом!.. Враги ж — под основной гранит легли  
костями.. Еще шипят? Ревут?.. Не страшно. — То во сне Трепещется страстями  
растерзанная совесть; То старую разврат досказывает повесть... Пускай себе шипят!  
А мы, по старине, Усердно помолясь, покойны и могучи, На пользу родины труд  
мирный обратим. А придут?.. саранчи заморской злые тучи — Размечем по полям — и  
землю удобрим. Всегда на пользу нам трудился Запад дряхлый! Что было доброе, — мы  
брали, с первых рук; И семена добра в России не зачахли: Велик, богат наш храм  
художеств и наук. Так Лосенко у нас великие заветы Отцов художества на западе  
собрал. В Россию перенес, и истиной согретый Он Школу Русскую достойно основал;  
И камень основной великого искусства — Рисунка правильность, он первый положил;  
Заветы Лосенка Угрюмов сохранил, А композицией и выраженьем чувства  
Самостоятельность он школе подарил. Отраднo для ума, торжественно для взоров  
Начала мудрые в твореньях процвели; Сокровищницу ту к нам свято пронесли Шебуев и  
Егоров,

И храмы Божии трудами их блестят; Толпы учеников их жадно  
изучают, Учителей своих благоговейно чтят И гениальными  
трудами прославляют... Так! Школа Русская навек утверждена!  
Достоинно, праведно событие немое Соборным торжеством  
отметить навсегда; Да будет гласное, да будет вековое!

Маститый корифей! Тем светлым торжеством  
Возлюбленный Монарх твой праздник удостоил!  
Гордись и радуйся! Об имени твоём  
Синклит художников твой юбилей устроил.  
Художеств юбилей! Заслугою богат,  
Ты нынче председишь, как школы представитель;  
В тебе прославлены ученье и учитель;  
Путь славы — Русский путь! Покойно, с умилением  
Я в будущность смотрю: на громких торжествах  
Твои преемники сияют вдохновеньем,  
И Школа Русская — в бесчисленных венцах!  
1848

### **К БУГУ (В альбом)**

Придет пора, задремлет вдохновенье; Еще бледнее будет образ мой, Уляжется  
житейских дум волненье, Я брошу дом к круг семьи чужой, К святым местам пойду на  
поклоненье, Туда, за степь, на край земли- родной, Под небо страстно-пламенного юга,  
На берега «божественного» Буга,  
Буг — богом был для древности; и ныне Он божеством на севере слывет.  
Задумчиво, в неведомой пустыне, Как проводник, Буг катится вперед;  
О вечности, о море, о святыне Дорогой речь разумную ведет;  
Но путник степь глазами жадно мерит — И Бугу мудрому и верит и не  
верит...  
Туда! — Опять увядшими устами Здоровье пить обильною струей;  
Воображение украсится мечтами. И процветет поблекший образ мой,  
Как южная гроза, взмахну крылами, И как она, небесною стезей,  
Уйду отсель в надзвездные селенья,  
Для лучших дум, для лучших песнопений....  
Нет! Человек и Рок неумолимый.  
Два дерзкие, упрямые врага;  
Равно честны, равно неодолимы,  
До смерти не мирятся никогда;  
Кто судия из них, кто подсудимый —  
Решает смерть... Быть может, и меня  
Сломает враг... Пускай! Умру, по Бугу.  
Пошлю «прости», как царственному другу.  
1836

### **СЕРБСКАЯ ЭЛЕГИЯ**

Расскажи мне, добрый Серб,  
Про твою отчизну!  
На тебя ль, честной народ  
Взводит укоризну:.

Будто ты булат отцов  
Под землей хоронишь  
И под Цесарским орлом  
Добровольно стонешь?  
Старых ран, счастливый брат,  
Не тревожь напрасно!  
Я — свободу, жизнь и честь  
Подарил прекрасной!  
Если дочь своих врагов.  
Ты женой голубишь;  
Ты и брата и отца.  
Той жены полюбишь.  
1839

Наш век похож теперь на рынок,  
Где торг идет подлогом и обманом;  
Кругом все интерес да эгоизм.  
Ты верно сам, да и не раз, заметил,  
Что в бескорыстие и беспристрастье  
Никто малейшей веры не имеет.  
И видят подвиг честности высокой,  
А головой сомнительно качают.  
Зачем же и любви искать в женитьбах?..  
Теперь не женятся, теперь торгуют  
Супружеством. Невестам аукцион;  
Которая богаче, та и лучше...  
Теперь жена, не жизни цель, а средство...  
Что жизнь теперь сама? — Толкучий рынок,  
Где руки всех в чужих карманах шарят.  
Бог с вами, с вашим веком, с вашей жизнью!  
Блажен кто может разуместь возможность:  
Пустынником жить посреди людей...

1852

### **АЛЬБОМ** **В альманах Д-ру Лту**

Альбом — имен и мыслей галерея; Рисунков, подписей домашний музей; Здесь чувство лжет, быть искренним не смея, Тут блеском не своим насильно блещет ум; Я на альбом смотрю, как на кладбище, Где монументам нет начала и конца; Гордятся золотом, изяществом резца... Под ними что? — Змеи глухое логовище, От плоти — прах, от духа — ни следа... И лжет роскошных букв нарядное сиянье; С улыбкой их прочтет случайный гость могил;  
Прочел и не вздохнул; ушел и позабыл Златых писем пустое содержанье.

1846

Стихотворение «Я поздравляю, Друг мой нежный» преподнесено жене в день ее 50-летия. Автограф этого стихотворения хранится у потомков Н. Кукольника, от которых оно и получено.

## В АЛЬБОМ П. КОВАЛЕВСКОМУ

По суше и морям - вы странствовали много.  
Тьму видели чудес и бездну пустыков.  
Но вам случилось ли, на месте, иль дорогой,  
Заметить, повстречать поэта без стихов?  
Увы! Сокровища души не оскудеют;  
Но, глядя на людей, сжимается душа,  
Из сердца каплет кровь, слова в устах  
немеют  
И прячется поэт, как Зоофит, в себя,  
И раковину сжав жемчужными краями,  
Он перл поэзии уносит по морям...  
Бьют бури, хляб килит, над ярыми валами  
Он безопасный спит и мир — его в мечтах!..  
Теперь живых стихов у нас вы не ищите,  
Их лепят на заказ по мертвым образцам...  
Вы лучше странствуйте по суше и морям!  
Тогда поэзию вы прозой оживите.  
1845

В красных словах выражается разум и мысли народа: Кистью, резцам — его  
вожделенья и страсти; но сердца горькие чувства и помыслы, неба с душою слиянье в  
звуках только Музыка, верно, их потомству доложит. Древний мир к нам пришел  
бездушной, мертвой руиной. Чудны останки!.. Но звучная их душа не связует! С нами  
— труп, а Психея-музыка на Олимпе осталась.  
21 февраля 1841 г.

Мы с вами незнакомые знакомцы!  
Вы мне сродни; мы тех же Муз питомцы;  
Их человек зовет святой четой,  
Мою — Поэзией, а Вашу — красотой.  
Но и в семье Кастальской — нет равенства:  
И там всех старше — Муза красоты:  
Все прочие — ей в службу отданы  
И все поют лишь старшей совершенства.

Стихотворения, публикуемые впервые.

На сегодняшний день пока удалось разыскать 10 стихотворений Н. Кукольника,  
которые ранее не публиковались, восемь из них недавно были опубликованы в  
сборнике Н. Кукольника «Стихотворения» (Таганрог, 1999). Два еще не  
публиковались.

В настоящем издании публикуются эти два («В красных словах выражаются разум и  
мысли народа»; «Мы с Вами незнакомые знакомцы»), а также четыре из тех, что были  
опубликованы в юбилейном сборнике «Стихотворения» (Таганрог, 1999).

Стихотворения публикуются по автографам, которые, хранятся в Пушкинском Доме  
(СПб), РГПЛИ (Москва) и в Российской Публичной библиотеке (СПб).

Стихотворение «Было прекрасное время» посвящено Л.П. Корсаковой, на которой  
одно время Н. Кукольник собирался жениться.



## БЫЛО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ

Было прекрасное время! — Я счастлив был счастьем  
Поэта;  
Молодость, слава, искусство, любовь и тьма впечатлений  
Свежим и ярким — горячку питали в душе воспаленной!  
В это прекрасное время и я был достоин Гитары Дамского  
Гоф-Трубадура и много парадных альбомов  
Память о счастье моем сохраняют на нежных страницах.  
Все изменилось: у Феба в опале, с Музами в ссоре,  
Нитку жизни моей я, Парке допрясть помогаю.  
Без впечатлений, без чувств, одинокий всегда и повсюду.  
Как секретарь, по привычке пишу стихи и вялую просьбу  
Для Александра Филиппыча, для альманахов — и только!  
Что же могу написать в альбом Ваш, Людмила Петровна?  
Разве исповедь в бедности чувств, в нищете вдохновений?  
Нет, подожду! Наступит, и скоро возраст лебязжий.  
Возраст с немногими песнями, полный Поэзии чистой  
Великой как солнце вечернее... Лучшую песню  
В Вашем альбоме оставлю... Только та песня, быть может,  
В Лете одна не утонет, спасенная Вашим альбомом.  
1839

Я поздравляю, друг мой нежный, Со днем рожденья твоего! То праздник счастья  
безмятежный, То день блаженства моего!  
И я с тобой переродился, С тобой — я жизнь уразумел, Душой и телом обновился,. На  
старость вновь помолодел.  
И наша жизнь, теперь, как- лето — В прекрасном климате, идет; Любовью зрелую  
согрето, Разумной дружбою цветет.  
И пусть себе приходит осень, Пускай зима откроет дверь, Мы лишь о том у Бога  
просим: Пусть будет так, как есть — теперь.  
1857

Не мне, не мне заслуги Чернышева,  
На лире немощной, достойно воспевать;  
Тут нужен пышный блеск Державинского слова,  
Его поэзии и жар и благодать.  
Заслуг и подвигов изящная громада,  
Как памятник живой, в глазах моих стоит;  
В душе признательной — высокая отрада;  
И гордость Русского живым ключом кипит;  
Не вылить их в слова, дать образ, краски, чувства...  
О нет! Не мне, не мне, быть может, никому.  
Одной истории священное искусство,  
Достойный памятник соорудит тому,  
Кто Царству и Царю служба, не знал досуга,  
Кто Русь в душе своей, как божество, носил;  
Полвека, каждый день запечатлел заслугой:  
Полвека, каждый день, как Тит, благотворил.  
Кто на святой войне двенадцатого года  
На полчище врагов, как буря, налетал!  
Кто тайны хитрые новейшего  
Немврода, Как дух невидимый, ловил и обличал.  
Меч славный лег в ножны, но слава с ним

осталась  
На тяжком поприще гражданского труда;  
И жизнь полезная двойным венцом венчалась.  
И сладко дожил он до сладко плода!  
Прекрасно он стоит в семье своих творений:  
Довольство и покой безмерных Русских сил,  
Громада стройная воинских управлений,  
И благодарный  
Дон, кому отцом он был;  
И воины, кого хранил он и покоил,  
И те, что у него служить за счастье чтит.  
И те, кого призрел, спас, защитил, устроил,  
В историю свои свидетельства внесут.  
И имя славное достойно вознесут;  
От нас похвального ему не нужно слова!  
Нет, петь его не нам! Есть долг другой у нас,  
В день светлый торжества, в священный славы час,  
О здравии молиться Чернышева.

### БРАТ ПЛАТОН

#### Ода

Кто с юных дней до зрелых лет С неизменною фигурой Считает тысячу побед Над хитрой женскою натурой? —

Невинных дев, коварных жен  
Любовью, рыцарской щекочет, В делах любви —  
Наполеон, Возьмет в полон, кого захочет?

Кто за трапезой меж друзей  
Решит громовым ГЛАСОМ споры  
И оппозицией своей

Всю ночь питает разговоры?  
И с кубком хладного вина  
В хмельном и шумном океане,  
Меж пьяных волн кто — как скала  
Стоит один — при фортепьяно?

Кто другу вечной дружбой рад?  
Пред жертвой ближним—не бледнеет?

И за добро добром богат? —  
Нет Денег — делом не скудеет?  
На благодарность не ведет  
Душ мелких мелкого расчета?  
Кто в друге зла не вспомянет?  
Забыть его— одна забота...

Кто мыслью, жертвой и трудом  
Родным служил, как мать им служит;  
Во сне, на бале, за столом Об них душой любящей тужит?

Но не для света этот стих,  
Понятен он и свят для слуха.  
Который слушать нас привык.  
Тот стих — иному оплеух<sup>1</sup>.  
И дождь несчастий и скорбей  
Не возмутит священных правил  
Досады, зла в душе твоей  
Ни тени злобной не оставил.  
Надежно, весело, светло

На небо смотришь ты с молитвой!  
Врагам и клевете назло  
Ты горд твоей ПОСЛЕДНЕЙ битвой!  
Свети, Платон! Мой друг! Мой брат!  
Но я забыл законы моды  
Для именин не пишут оды.  
Застольную!.. Платон!. Виват!  
18 ноября 1840

<sup>1</sup>Эти четыре строки в подлиннике подчеркнуты (примеч. А. Н.).Из драматического рассказа (картины)

### «28 ЯНВАРЯ 1725 ГОДА»

Велик был день зачатия России, Народного преображенья праздник!  
Часть пятая всего земного шара Невежеством как тьмою покрывалась;  
Как глушь лесов дремучих, как пустыня  
Ночной порой, была страшна Россия.  
Уединенно, города и села,  
Как прокаженные, не общались,  
И мысли старые на старых сказках.  
Бескрылые, недвижимые дремали. ,

И, вдруг, Из тела старого добыть Способностей утраченную силу; И в старика,  
избитого веками, Здоровую и свежую влить юность; Невежеством, миллионом  
предрассудков К народу пригвожденный грубый саван Сорвать, и мертвецу реши:  
«восстани!..»

Война! И Русь как нива волновалась;  
Военный клич работы прекращал; Нестройно шли бесчисленные рати, От думы, от  
торговли, от сохи, От алтарей оторванные слуги, А  
Беспорядок был их полководцем. Татарин, Лях, отважный  
Швед, свободно Охотились без казни в Русском поле!

Военные орды во время мира Соблазн и смуту дома разводили. Страшна была  
стрелецкая винтовка; Их Русский нож для Русских страшен был; Их буйные,  
разбойничьи пиры Невинной Русской кровью поливались.

### ЗАКОН

Давно ль, ребяческим играя вдохновеньем О чудесах любви я пламенно писал, А сам  
от женщины упрямо убежал С невольным непонятым отвращеньем! С насмешкой я  
глядел на юношей и дев, Моим стихом встревоженных лукаво, И радостно кипящих  
чувств посев Для опыта я поливал отравой.

Увы! в природе есть единственный закон,  
Незнающий ни льгот, ни исключений:  
Ему, ужасному, мир бедный поручен,  
Как инквизитору власть пытки и мучений,  
И не спасет от гибельных сетей  
Несправедливого всеобщего закона  
Ни Александров меч, ни мудрость Соломона,  
Ни черный мрак темниц, ни глубина степей.  
Не много слов на траурной скрижали:

«Люби» — «Страдай» — и только! Но суров  
Всемирный смысл непреходящих слов.  
Века прошли, любили и страдали.  
Закон смешон, пока неизъясним.  
Закон премудр, когда он прост и ясен,  
Друзья мои, «закон любви» прекрасен.  
Но я постиг его несчастьем моим.  
Молю вас, страшных слов умом не постигайте!  
Без размышления идите в горький путь;  
Не думайте природу обмануть.  
Живете!.. Так любите и страдайте!  
1836

## РУССКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ

Есть истина во всем. — Но ищет наобум Ползком и ощупью ее пытливый ум, Тогда  
как истина нага для глаз искусства!  
В сердечной чистоте возвышенные чувства Достойны бога зреть, так нам Христос  
сказал: Священной красоты и блага идеал  
И царство беззащитное дрожало! Без страха горделивая Европа, Как на Китай,  
смотрела на Россию! Так! А теперь? Над гордою Европой Стоит судья единый,  
Русский меч!  
Без вод морских, страна как без небес. Ошибкою в Архангельских туманах Белел  
заблудший парус корабля; И только льдины сонные бродили. Архангела  
единственные гости; И реки Русские в моря чужие, Без пользы, волны праздные  
катали...  
И, вдруг, взять море в творческую руку, В другую землю! неразрывным браком Их  
сочетать к супружескому ложу Поставить белокрылых исполинов... —  
И старых рек для государства мало! Раскинулись искусственные реки, Пути в лесах  
дремучих пробежали, Серебро и золото выдала земля!  
Поддержанный родительской десницей. Колеблясь, новый град взглянул в Европу... И  
целый мир заздравные дары Понес в новорожденную столицу!  
Как юная красавица поутру Бежит весеннее светило встретить И свежестью весенней  
загорится,  
Так ты, новорожденная Россия Денницу просвещения встречаешь. Уже стучат  
целебные ключи, Священными волнами очищенья; Уже пришли далекие волхвы  
С божественным елеем просвещенья И зиждут храм науки и искусства. Как солнце, —  
с миллионами лучей!  
Уж близок день! Моя отчизна носит Небесные зачатки новой жизни,  
Уже цветы цветут по государству. Близка, близка трудов великих жатва!..  
1837

Примечание. 28 января 1725 г. умер Петр I.  
Приведенный отрывок представляет часть монолога Сухотина.  
Часть отрывка опубликована в книге «Петербург, Петроград, Ленинград в русской  
поэзии», Л, 1975, с. 99.

## НАДИНЬКА

### МАЛАЯ ПРОЗА

С начала 1840-х годов главным направлением творчества Н. Кукольника становится проза. Им в это время написано десять романов, множество повестей и рассказов. Центральное место тут занимает цикл, посвященный эпохе Петра! Основу его составляет то, что принято называть малой (по форме и размерам) прозой. Именно этот Петровский цикл длительное время пользовался успехом у читателей и даже благосклонностью критиков. Г. Белинский, который вообще-то скептически относился к творчеству Н. Кукольника, говоря о произведениях Петровского цикла, называл их талантливыми, прекрасными, утверждая, что Н. Кукольнику удалось создать живые и рельефные характеры. В. Белинский даже утверждал, оценивая прозу Н. Кукольника, что он «одною стороною своего таланта примкнулся к так называемой натуральной школе».

Малая проза Н. Кукольника позволяет проникнуть в особенности литературного процесса 1830—1840-х годов и глубже понять варианты взаимоотношения «писатель — публика». По мнению современного украинского исследователя творчества Н. Кукольника И. Черного (1998), синтезируя в малой прозе опыт «торгового» и «элитарного» направлений в русской словесности, Н. Кукольник достиг немалых результатов. Но временный успех писателя внезапно сменился полным и длительным забвением, а теоретико-литературная интерпретация его творчества, так и до сего дня не завершена и ждет своих исследователей.

Малая проза Н. Кукольника (в 6 книгах) в последний раз была издана В. Сувориным. Она выдержала три издания (1884, 1894—1901). В XX веке издавались только отдельные произведения этой прозы. Все эти издания приходятся на 1989 год.

Ниже читателю предлагается повесть Н. Кукольника «Надинька». Она относится к психологической социально-бытовой прозе. Написана в 1843 году. В рецензии на нее писалось: «Не имей автор громкой литературной славы, давно уже приобретенной, не будь талант его всем известен, и напиши он одну только «Надиньку», то и тогда он бы обратил на себя внимание всех знатоков и любителей русской литературы».

Более категоричен в оценке повести Б. Белинский, который утверждал, что повесть в целом лишена идеи и «вертится на пустой любвишке и пустых сладеньких эффектах...» Впрочем, пусть читатель сам сделает свою оценку.

Более детально малая проза Н. Кукольника рассмотрена в работе И. Черного, которая так и называется «Малая проза Н. В. Кукольника». Ударило двенадцать часов. Рим пылал хуже всякой печки. Было жарко, душно, как па стеклянном заводе; несмотря на зной, множество гостей, без галстуков, в широкополых шляпах, тянулось к гостинице Лепри; по нациям каждый занимал место у своего стола. Евгений любил эту гостиницу, потому что тут преимущественно собирались художники, и просил отца и всех знакомых, туда адресовать к нему письма. Когда Евгений вошел в комнаты, у письменного ящика уже стояло много нетерпеливых и разбирало чужие адреса; редко кому доставалось встретить свой. Евгений подошел также к ящику, а скоро отыскал тоненькое, тончайшее письмо; и пакет и конверт, все заключалось на одной четвертушке английской почтовой бумаги, которую Евгений очень хорошо знал даже по цвету, потому что сам выслал ее из Петербурга к отцу в деревню. Приметно было, что Евгений не ожидал найти в письме ничего интересного, как будто знал его содержание, и распечатывал с таким равнодушием, с каким обыкновенно чистят апельсины для другого. Однако те распечатал, подошел к окну и прочел: «Послушай, Евгений! На что это похоже!» писал старик-отец почерком великого человека, т. е. почерком, который разбирает только опытная привычка: «Довольно тебе шататься за границей. Помнишь, я позволил тебе на год, и то через силу, а теперь прошел не год, а без мала три. Право, денег не пошлю, и те задержу, что Маша тебе посылает. Полно

баловать! Ведь не шутка, сколько мы лет не видались. В Питер отвезли тебя по двенадцатому году; в пансионе продержал тебя Француз пять лет; там ты в университет пошел; очень нужно; я Французу платил за то, чтобы всему тебя научил; да и тут я не спорил: Бог с тобой, пускай себе учится, дурного нет, ну, выучился, на службу определился; пускай себе служит; так и следует; ну, послужил довольно, говорю я; есть у тебя другая служба; я стар; надо о крестьянах радевать, к доброму хозяйству приучаться. Нечего сказать, добрый ты сын, послушался, вышел в отставку, да и давай за границу проситься. Уж, как ни больно было нам, что ты чужие земли, прежде своей и прежде нас, хотел видеть, да Маша уговорила. Бог с ним, пускай себе едет, дурного нет. Отпустил я тебя за глаза, только на год, а вот уж без мала три; все мы под Господом; слава Богу, здоровы, да в нашей старости один день, и прощай, Евгений. Так на то ли мы тебя воспитывали; всем прихотям твоим потакали, чтобы за все труды и снисходительность нашу никогда на этом свете с тобой уже и не увидеться? Так смотри же, Евгений, зимой у нас с непривычки будет тебе скучно; так гуляй- себе до весны, а весной, к Вознесению, изволь прямо к нам в деревню; пора тебя пристроить; пока и в твоей воле я господин; а умру, тогда уж сам за собой присматривай. Прости же, душа моя, ты у меня один, Евгений, прости, да пиши почаще; я всегда твои письма читаю, да с Машей раза по три, да с мамзель Куси, у которой ты на руках от земли отрос; да тетушкам Пульхерии, Анне и Наталье Захарьевнам; да соседу нашему Сергею Андреевичу Безнужному, да жене его и дочери, пока здесь были; куда семь, больше. Так смотри же, Евгений, к Вознесению! А пока да сохранит и благословит тебя Господь всем и нам на радость. Безнужный больно хочет тебя видеть, и я того же хочу; мы теперь в больших с ним хлопотах. Неурожай такой сильный, что и не запомнят. Мы-то с ним еще ничего; сможем; а мелким дворянам трудно приходится. Помогаем чем Бог послал, да вояжи, любезный Евгений, вояжи крепко нас подрезывают. Еще для здоровья туда сюда, а для забавы, когда кругом нищета и голод... право, без упрека пишу. Только приезжай к Вознесенью, все - забуду. Так прости же, Евгений. Храни тебя Бог и все святые. Прощай. Коли ты будешь возвращаться через швейцарское государство, так не забудь в швейцарском городе Женеве часы для меня купить. Деньги Маша вышлет. Как мы там с Суворовым были, так все тамошние часы хвалили: да я тогда не был при деньгах; а московский мой брегет — совсем испортился; был у нас на ярмарке часовой мастер, деньги с меня большие взял, да и доконал брегета; хоть брось... Ну, прощай! Береги себя, а пуще от фруктов: я от них в Требии в лазарете с неделю пролежал, и так еще, говорили, дешево отделался. А соблазн велик. Знаю я Италию. Фруктовый сад, а для других винный погреб. Правда, кислое, да дешево. Да ты, мой Евгений, умница, - сам все это знаешь и не забудешь своего отца Павла Лукачева. Лукачевка ,5-го июля 18\*\* года».

Этот текст занимал осьмушку письма с обеих сторон и расположен был во всех направлениях, так что имел вид шашечницы. Хотя и сын, Евгений с особенным трудом разбирал последние строки, потому что великие люди обыкновенно, сгорая гениальным нетерпением, последние строки пишут гораздо хуже первых.

- «Полно, Лукачино, читать!», сказал живописец Киненко, сидя за столом и сгорая гомерическим аппетитом: «Можешь прочесть и после обеда, и то после сварения в желудке; письма из дому всегда должно читать пять часов после обеда и за пять часов до ужина; тогда здоровье в безопасности...».

Киненко был прав. Письмо отца крайне огорчило Евгения, так что он вправду не мог ничего есть. Как! Он не был еще в Париже, в Гамбурге и Лондоне. Три эти года он шатался по немецким минеральным водам, влюблялся беспрестанно, а зимою лечился от любви в Вене, Милане, а для окончательного излечения от всех любвей прошедших Евгений решил провести третью зиму в Гамбурге, четвертую в Париже, пятую в Лондоне, и тогда уже, за истечением пятилетнего срока, как будто по неволе, возвратиться в Россию. План великолепный, но Евгений, если и не знал характера

своего отца, то, по крайней мере, очень много о нем слышал и совершенно был уверен в действительности его угроз. Задумался Евгений и, правду сказать, было о чем: как в одну зиму коротко познакомиться с тремя столицами европейских удовольствий и побывать - в Неаполе, без чего не только умереть, но, а воротиться в Россию было бы предосудительно. Да и в самом Риме он прожил только одну недельку, не больше, почти ничего не видал, кроме Ватикана и Петропавловской Базилики, да мастерской Брюллова. Отец положил на ноги гуляющего сына тяжкие цепи, и Евгений, хотя уже и сидел за русским столом, но приметно ничего не видел и не слышал. Художники любили Евгения и приняли живое участие в его положении, которого, по молодости и но сильной досаде, Евгений не умел или не хотел от них скрывать. Мнения разделились. Одни полагали, что никаких приказаний просвещенному и образованному человеку исполнять не следует; другие находили, что отец поступает весьма основательно, хвалили его самопожертвование и удивлялись продолжительности родительского терпения, а что касается до Парижа, купно с прочими городами, так время не ушло; во-первых, август стоял еще в начале; почти девять месяцев оставалось сроку; в это время можно взглянуть Чуть не на целый мир, побывать в Америке; а во-вторых, для ближайшего знакомства с этими городами можно, по миновании некоторого времени, сделать второй вояж, и тем удобнее, что в это время может многое перемениться...

— «Конечно...» прервал Евгений: «меня женят. Вот и все тут. Запрут с женою в курятник, который назовут домом и Заставят радеть - о крестьянах. Поневоле отупеешь; я с детства имел сильное расположение к другому роду жизни...\*».

- «Не верю...», сказал молодой архитектор, человек положительный и благоразумный; «не верю. Я слышал про вашего отца и уверен, что он никогда и не подумает женить вас насильно...».

— «Знаете же вы моего отца! Павел Захарьевич Лукачев во всю жизнь держа лей Суворовской пословицы: хоть трёсны, а полезай. Правда, он не писал ко мне ни слова; матушка также, но тётушка Пульхерья Захарьевна не утерпела и в одном письме обмолвилась. У меня уже и невеста есть, в одной версте от Лукачевки; единокровная дочь этого проклятого Безнужного. Отцы наши и матери по рукам ударили и ждут меня, как жертву своих соседских соображений. Очень приятная будущность! Не правда ли? Трудиться, стараться образовать себя, зачем? Чтобы жениться па деревенщине, толстом обрубке, и запропасться в темной глуши. Очень приятно!».

Кислое, но дешевое вино, веселая беседа мало по малу развеяли грусть и задумчивость Евгения; он сам уже Начиная Мириться с печальною для него необходимостью вернуться в РОССИЮ; сам придумывал, каким образом в эти девять месяцев осмотреть все, что считал необходимым видеть в Европе, и тут же постановил завтрашний день начать обзор художественных; мастерских и, *comme de raison*, с мастерской Торвальдсена.

Спеша насладиться заграничною жизнью даже в запас, Евгений заснул очень поздно, встал еще позже и тотчас отправился в мастерскую Торвальдсена. На улице было много экипажей, у ворот лакеев, в мастерской мужчин и дам; беловолосый старичок, бодрый и веселый, в сюртуке, повязанный небрежно платком с красными краями, рассказывал что-то иностранному принцу, который, хотя и внимательно слушал великого ваятеля, а все однако же поглядывал в сторону, где теснилась большое общество дам. Сначала Евгений не обратил внимания ни на принца, ни на дам, ни даже на хозяина; од присматривался к моделям Апостолов, изготовляемых для Копенгагена; между тем к нему подошел архитектор, которым он вчера спорил у Лепри..

— «Не правда ли?», сказал архитектор: «Есть что посмотреть. Если бы ваш батюшка, хотя один денек прогулялся по Риму, я уверен, для одной Италии он бы отсрочил ваше возвращение на пять лет... Все это прекрасно, колоссально, величественно и признаться ли, некоторым образом архитектурно, потому что все должно украсить новый Копенгагенский собор. Подобная скульптура — раба нашего зодчества; все эти

труды — заказы архитекторского воображения; все по меркам и перспективным соображениям зодчего; я люблю такую скульптуру, как исправного подрядчика; но, как человек посторонний, как простой любитель, я больше люблю задушевные работы ваятеля, не назначенные для того или другого места, плоды вольной художнической души и безотчетного свободного труда. Таких у Торвальдсена на веку было много, но жаль, мало в мастерской; его три Грации, его День и Ночь, фриз, который вы можете видеть на Монте-Кавалло; его барельефы... все эти вещи полны ума и чувства; создания высокие; постойте, постойте, кажется, здесь есть модель его Надежды... Пойдемте; она прежде стояла в том углу...».

И архитектор повел Евгения в тот самый угол, где теснились дамы.

-- «Женское чувство...», сказал архитектор. «Сейчас рыскало себе пищу; так и есть; они все молятся своей

богине, которая не покидает даже старых дев... Вот она! Не правда ли, как хороша?...».

— «Чудно хороша!», сказал Евгений с чувством, но это чувство было возбуждено не гипсом, а живою женщиной, которая, в соломенной шляпке, с умилением глядела на истинно-поэтическую статую Надежды, едва ли не лучшее произведение Торвальдсена. Евгений был прав: чудно была хороша незнакомка; но хороша по нашему, по европейски, согласно со вкусом нового мира. Небольшая ростом, но прелестно зашнурованная, так что талия у незнакомки была гораздо привлекательнее талии Надежды Торвальдсена; носик крошечный, как у кролика, и премиленький, преинтересный, а у Надежды Торвальдсена нос важный, правильный, как следует в скульптуре; Надежда Торвальдсена, само собою, разумеется, была побелее незнакомки, но у последней был такой поэтический цвет лица, что ни дать ни взять элегия XIX века; ни сильного румянца, ни болезненной белизны. Наконец, глаза... куда же безглазой Надежде спорить с этими небольшими черными, огненными глазками, подернутыми живою слезою искреннего, душевного умиления; рук не мог видеть Евгений, они тонули в батистовом платке, но незнакомка обронила одну перчатку... Эта перчатка в своем роде была колибри, и Евгений бросился поднять ее; поднял, подал, и получил в награду холодный поклон; не удостоили даже взглянуть на него; продолжали смотреть на Торвальдсена: зато маменька обратила на Евгения попечительное внимание, дернула незнакомку за руку и сказала: — Надинька, *il est temps*, поедем! — Минуточку, *taman...* - Опоздаем, *ma chere*, поедем! - «Надинька! Русские!» почти громко произнес Евгений и, не отвечая на вопросы архитектора, побежал вон из мастерской. Надинька уже утонула в карете, а маменька из окна наказывала ехать к Брюллову. Само собою, разумеется, Евгений побежал за ними. В этот день у Карла Павловича был великий гость, достойный и смотреть на последний день Помпеи и умевший оценить эту картину. Сир баронет Вальтер Скотт, исполненный живейшего восторга, давно уже оставил мастерскую; художник также ушел, и наши дамы, в самом деле, опоздали. «Видишь, Надинька, засмотрелась на статульку и прозевала такой чудесный случай видеть и Вальтер Скотта, и Брюллова, и его картину, Нечего делать, ступай домой... Евгений опять было побежал за ними, но карета скоро скрылась из виду; Евгений потерял след и, задыхаясь от усталости и жара, остановился у самого палаццо Барберини.

Меня частенько упрекали в опрометчивой влюбчивости моих героев; в особенности на этот счет трунил надо мной... назову его Анонимом; почтенный Аноним на следующей неделе, в воскресенье, познакомился с домом другого Анонима, узрел его дверь, а в понедельник уже принес признание в искренней, пламенной и, само собою, разумеется, в вечной любви. Признаюсь, я улыбнулся, но не посмел ввести подобного случая в мои рассказы. В картине эта опрометчивость показалась бы уже преувеличенною, чрезмерною; а любовь Евгения была самою обыкновенною любовью; влюбляются на балах, на бульварах; случалось, влюблялись в красивую наездницу, когда она в полумужском наряде ловко проскакала мимо влюбчивых глаз; мало ли чего ни случалось! Случилось, что Евгений Павлович Лукачев, сын отставного прапорщика



Павла Захарьевича и Марии Захарьевны Лукачевых, наследник тысячи душ и многих тысяч капитала, нареченный жених девицы Безнужной, дочери Сергея Андреевича и Лизаветы Афанасьевны Безнужных, наследницы тысячи двухсот душ и конного завода — влюбился в знаменитом городе Риме в маленькую Надиньку, которая смотрела на большую Надежду. Это бы еще ничего. Один Англичанин влюбился в Венеру Медицейскую, другой в Психею, третий в покойную Марию Стюарт, четвертый в портрет жены гамбургского бургомистра; все это не удивительно; мало ли чего ни случалось; но Евгений влюбился пламенно; и не безумно; то есть, он не хвастал своею любовью; напротив, он стыдился своей тайны и, нося в душе глубокую грусть, принуждал себя к веселости, шутке, наружному равнодушию. Вот что удивительно! И хорошо, что Аноним женился, а то бы он меня обвинил во лжи, тогда как я рассказываю истинное происшествие, такое же истинное, как и то, что 27-го сего Августа была в Петербурге сильная буря, продолжавшаяся ровно 12 часов.

Влюбился Евгений, и первым последствием было то, что он не пошел к Лепри, следственно и не обедал. Недостаток аппетита верный признак любви. Но зато Евгений в обеденное время обошел все остальные гостиницы в целом Риме. Множество русских фамилий; много и дам; но как узнать: те ли? — «Сегодня что-то затевают в Колизее» подумал Евгений и уселся у лучшей римской гостиницы, полагая, наверное, что Надинька, лучшее создание природы, должна жить в лучшей гостинице. Силлогизм весьма правильный, но на этот раз, как и все силлогизмы, оказался вздором. Правда, все дамы уехали по направлению к Коллизею, но в одной даже тени сходства с Надинькой; а между тем смеркалось; Евгений достал мула, и отправился к Коллизею. Он не ошибся: несмотря на позднюю пору, стечение публики было многочисленно; старые кости Коллизея были покрыты любопытными; во многих местах пылала, факелы и освещали кружки дам и мужчин; можно бы заметить, как в Риме делились и составлялись общества гостей; в одном из них должна же быть и, Надинька. Евгений обошел почти все эти кружки.; оставался последний; подходя к нему, он слышал русский язык, и сердце его забилося, шаги ускорились. Вот он уже может различать лица, вот и маменька... Вдруг раздался свисток, и факелы на всех пунктах потухли, луна бледно озарила остов дряхлого старца: толпы народа черными пятнами темнели и шевелились, будто вызванные из Эреба тени; раздался, звучный и полный, хор из Реквиема Моцарта с самой сцены; чудный, поразительный эффект. Не раз невольные вздохи подымались шатром дал, огромным амфитеатром; не раз крики восторга заглушали хор; то оп, снова усиливаясь, наполнял чудными звуками пустоту Колизея, и как смешны были рукоплескания слушателей; датский лепет показался бы громче в крупнейшем из европейских театров. И снова хор, а лупа выше, выше, и вот осветила лицо Надиньки в самую ту минуту, когда Евгений искал для себя счастливого места. Невозможно было сделать в этом отношении удачнейшего выбора, и как дорого за-платил за это счастье Евгений; он услышал голос Надиньки, он заучил наизусть лицо, ее; все предметы любви прежних шаловливых лет, испуганные могуществом новой победительницы, вырвали из памяти Евгения последние о себе воспоминания и разбежались далече; в душе его осталась одна Надинька; она стояла так близко к нему; он мог слышать не только звучный ее голос, но вздохи, шелест платья... И вдруг, откуда ни возмись, облако, другое, третье, тучи; повеял недобрый ветер, природа потемнела; зги не стало видно; слуги напрасно зажигали факелы; их тушил ветер, постепенно усиливаясь; гроза приближалась с обычною быстротою, и гости бега-ли, суетились, искали своих экипажей; толпа смешалась, раздался стук колес и смех гостей. Блеснула молния и осветила общее бегство... Где Надинька?... Ее давно уже не было на том месте, где стоял Евгений. Надинька уехала, но осталась в сердце бедного Евгения на твердых и прочных основаниях...

Прошла неделя. Все поиски оказались напрасными. Видно, они поехали в Неаполь, и Евгений поехал в Неаполь; — всуе! — Может быть в Помпею. И Евгений в Помпею: - - втуне! — Нечего делать, он воротился в Рим и предался самому романическому

отчаянью; по целым дням просиживал он у окна и ожидал, не приедет ли Надинька. Евгений был человек решительный; он составил на Счет «е кареты самые дерзкие планы; хотел остановить лошадей, вскочить па запятки и расспросить обо всем у лакея, бежать бегом за каретой, скакать возле на коне, словом так или иначе, но добиться, кто она?

Надежда хоть изрядно

Нас тешит иногда,

Но верить ей накладно...

И в девяти месяцах, в этом кратком сроке, назначенном Павлом Захарьевичем Лукачевым сыну своему, Евгению Павловичу Лукачеву, для пребывания за границей, пропало даром целых полтора месяца. В половине сентября, а по-нашему в конце, коляска Евгения Павловича рано с утра стояла у крыльца гостиницы, а Евдоким, верный слуга владетелей Лукачевки, в походном костюме разговаривал с почтальоном по латыни. Вы удивляетесь? Нет, без шуток по латыни, потому что Евдокимова языка нельзя было назвать ново итальянским. По грубости и дебелости и по странным оборотам, наречие Евдокима крепко смахивало на латинское, а может быть, и на древнее этрусское, только жаль, что последнее Затеряно, Долго не выходил Евгений из своего уединения; наконец Евдокиму удалось как-то выманить барина из задумчивости. «Бери пистолеты и шкатулку! едем!», сказал Евгений и вышел на крыльцо, в сопровождении трактирщика и всей трактирной челяди, которая, без всякого стыда и совести, в третий раз испрашивала награждения за небывалые услуги. Пока Евдоким укладывал шкатулку и пистолеты па свои места, Евгений, бледный, задумчивый, тайно прощался с Римом... «Я не нашел тебя, Надинька, в Риме, и вероятно уже никогда и нигде не найду тебя...», так мечтал он и весьма справедливо: «Глупо гоняться за мечтою... О, ты мечта!.. Тебя нет па этом свете!.. Ты мне привиделась... Ты хотела... Нет, ты и не знаешь о моем существовании... тебе и не снится, как я страдаю, какое ужасное, мертвящее чувство — эта любовь без надежды». В это мгновение мимо крыльца проходил оборванный итальянец и катил на двух колесах свою походную лавочку; там стояли гипсовые и бронзовые бюсты, статуэты, барельефы, медальоны с лучших произведений новейшей скульптуры. Торгаш остановил свою лавочку перед самым крыльцом и начал наизусть, с театральными жестами, вычитывать свои сокровища с приличными пояснениями. «Eccellenza!» закричал он на лад оперного речитатива: «вот амур кавалера Кановы, какого амура не было в древности; вот бюст синьора Камуччини, Рафаэля нашего времени, скульптура синьора делла Боско; вот лик della divina Pasta, что поет всеми голосами, будто все птицы разом; вот Надежда кавалера Торвальдсена...». «Где, где?», закричал Евгений также не без примеси сценического искусства, и в руках его очутилась небольшая бронзовая статуэта с Надежды Торвальдсена. Хорошо, что итальянец не знал причины такого восторга в случайном своем купце; он бы мог продать, и, наверное, продал бы, дрянную медь на вес золота, но на этот раз итальянец запросил только втрое и, получив деньги, спешил повернуть в переулок, чтобы на свободе, где-нибудь в тени, похохотать над глупостью заальпийского гостя.

— «Странное предзнаменование!», говорил Евгений, сидя в своей коляске и копытами наемных коней попирая священный прах всемирной столицы: «Неужели я найду тебя, Надинька! Неужели Небо хотело утешить меня и послало мне эту дорогую игрушку, как - будто напоминая, что я должен любить тебя вечно... О, вечно, вечно! Отныне моим пенатам будет — Надежда... Я не расстанусь, я умру с этим дорогим изваяньем. Теперь куда бы ни ехать, мне все одно... Со мной моя надежда и — не знаю, что говорить мне — но моя надежда сбудется...». 'Отложить лошадей и готовить ужин. Во вторых: два флигеля, по обеим сторонам дома, также в одно жилье, но несколько покороче, оттого и благообразнее; далее шли в разных направлениях целые улицы, обставленные строениями разного рода. Чего тут не было: амбары, молотильные сараи, кухня, скотный двор, баня, кузница, овчарня, конюшни, сараи для экипажей, ледники,

погреба, псарня, птичники; и все это перемежалось огородами; везде торчали ветвистые деревья, словом, Лукачевка была не Лукачевка, не деревня, а город, лучше иного уездного; а позади длинного дома шел сад, да какой? Не то, чтобы просто сад, а с сюрпризами, и пруды, и мостики, и водопад в аршин вышиною, и руины, и гроты, просто не деревенский, не господский сад, а нечто вельможеское, грандиозное. Но всего занимательнее, всего грандиознее в Лукачевке были сами хозяева. Павел Захарьевич Лукачев был человек лет шестидесяти с хвостиком; рослый, бодрый старик, краснолицый; несмотря на то, что волосы его были уже седые до желта, он всегда держался прямо, грудь вперед, голову несколько назад; одевался в течение сорока лет всегда одинаково: военный сюртук без эполет; белая шапка с красным околышком; сапоги всегда со шпорами, даже дома, даже во время случайного нездоровья или лучше сказать нерасположения, потому что Павел Захарьевич отродясь болен был только два раза: под Требией от фруктов, да на Сен-Готарде, где он крепко прозяб, так что стал думать, будто он уже и простудился, но в сражении согрелся и все прошло. Павел Захарьевич любил много говорить, в особенности о суворовском итальянском походе, но от других предметов не отказывался, преимущественно от турецкой войны, которая тогда была в самом разгаре; также нравились ему очень двенадцатый год, Юрий Милославский, Комета, Иван Выжигин, затмения и сельское хозяйство. Характера Павел Захарьевич был неопределенного, вроде шелковой материи с отливом; не то, чтобы сизого цвета, не то, чтобы и коричневого; так что-то серединка на половинке; частенько он дарил нищему пятиалтынный, а иногда гонял его со двора тростью, яко бродягу и дармоеда. И в домашнем быту Павел Захарьевич иной раз надуется, и ходит и говорит индийским петухом, а иной раз фарфоровую вазу разобьют, нипочем; смеется над ловкостью Терентия, родного брата Евдокима, и — баста. Павел Захарьевич хорошо пел басом и, уж не знаю, из подражания ли великому полководцу иди так, по своей охоте, всегда стоял на клиросе и силою голоса потрясал окна лукачевской церкви; доставалось и домашним окнам, но только от смеха, а дома Павел Захарьевич никогда не пел. Еще имел Павел Захарьевич одну не столь важную привычку, - чесать подбородок, особенно, когда ему приходилось не говорить, а слушать: но эта привычка была к лицу Павлу Захарьевичу; означала веселое расположение духа, и Марья Захарьевна всегда радовалась в душе, когда по движению левой руки приметно было, что Павел Захарьевич намеревается чесать подбородок. Марья Захарьевна была значительно меньше ростом, нежели Павел Захарьевич: но чего не доставало в вышину, то Марья Захарьевна вознаграждала шириною. Волном ее был особенно большого пространства; несмотря на дородство и сорок лет, как она сама себя считала в течение десяти последних годов, Марья Захарьевна весьма была свежа, отличного цвета лица, который крепко смахивал на пивонию, и происходил не от чего иного, как от льда, потому что она каждое утро вытиралась этим водяным кристаллом. Марья Захарьевна для супружеского равновесия говорила весьма мало; не смеялась никогда громко, а только улыбалась; не пела на клиросе, но зато курила трубку. Голову носила несколько набок для большего сходства с упомянутым цветком; на голове не терпела ни чепца, ни шляпки, а ходила простоволосая; дома всегда была одета одинаково, в зеленом матерчатом капоте с красными бархатными обшлагами и таковым же воротничком. Костюм сей был изобретен Павлом Захарьевичем потому, что он хотел и в наружном виде Марьи Захарьевны изобразить, что она военная, т. е. супруга военного человека. При выездах в гости, Марья Захарьевна имела право руководствоваться собственной фантазией и не упускала пользоваться оным. Характера она была положительно мягкого, уступчивого, доброго, и на все преступления многочисленной дворни глядела сквозь пальцы. Особенных привычек не имела, но зато была одарена разнообразными талантами: превосходно солила огурцы, квасила капусту, готовила варенье и считала на счетах, не только по части сложения, но и вычитала безошибочно. Сверх того умела учить собачек и доводила их понятливость истинно до Невероятной степени. Зефирка отворяла сама двери, бегала в

девичью или в кабинет Павла Захарьевича и умела звать его и горничную Меланью к барыне; а Валетка крал из мужских карманов платки так искусно, как будто учился в известных воровских школах на восковых фигурах с колокольчиками. Само собою, разумеется, что Марья Захарьевна из этого не делала никакой спекуляции, а просто забавлялась, смеха ради. Вот и в этот вечер, в который вам приходится свести с Лукачевыми знакомство, Марья Захарьевна сидела за чайным столиком, курила трубку и умильно глядела на Валетку, а Валетка, то и дело, ходил за Павлом Захарьевичем по комнате и улучал минуту для похищения из его кармана красного шелкового платка.

«Отстань, Валетка!», говорил Павел Захарьевич, почесывая подбородок. «Право побью! Мне теперь не до тебя! Завтра придет Евгений...».

«Вот уж непременно и завтра», сказала Пульхерия Захарьевна таким топом, как будто услышала лично ей обидную речь. Есть такие характеры или лучше сказать способы изъяснения. Что пи скажут, как будто обиженные. Право есть; и тетушка Пульхерия Захарьевна имела этот характер или, лучше сказать, способ изъяснения. Другие две тетушки Евгения, Анна и Наталья Захарьевны такого свойства не имели, и хотя были обе замужние, жили своими домами по соседству, а в Лукачевке только гостили, но столько уважаемы не были, как. Пульхерия Захарьевна, образец целомудрия и добродетели, до такой, степени, что, прожив на свете за пять десятков лет, о мужчинах уже не думала, и даже не любила говорить об этом ненавистном ей поле. Сердце ее принадлежало одному только племяннику, которого, надо вам сказать, она никогда не видала, потому что при рождении Евгения и в первые годы его домашнего воспитания на руках у мамзель Куси, Пульхерия Захарьевна проживала за триста верст от Лукачевки, в девичьем монастыре, у знакомой игуменьи. Это случилось потому, что тридцатилетняя дева и свете видимо получила отставку; не хотела быть предметом насмешек; скрылась; но в сорок лет девой уже быть не стыдно - и Пульхерия Захарьевна явилась в Лукачевку к особенному удовольствию хозяев. Солидный ее рассудок скоро получил влияние на все семейные советы; слова ее приобрели важность и значение, и потому Павел Захарьевич крепко огорчился, услышав вопрос Пульхерии Захарьевны.

— «Завтра!», сказал он голосом, страшным для домашних и церковных окон: «Завтра или никогда! Не изволь забыть, сестра, что завтра Вознесение, а если Евгений забыл это, так прощай, Евгений! Он мне; больше не сын...».«Как не сын?».

— «Да уж так, не сын! Слушаться! Довольно я ему потакал по вашей милости!».

В это время Терентий, поставив перед мамзель Куси самовар, шел назад, кажется и мерным шагом, но на гладком полу поскользнулся, упал, встал и хотел идти дальше. Но Павел Захарьевич дал ему оплеуху и продолжал:

- «Сколько денег перевел Евгений! Сколько на одну почту вышло! Мало того, что за свои письма плати, а то и за его маранье; напутает всякой дребедени три четыре листа, а Павел Захарьевич плати! Да что я ему прикащик, что ли?.. Завтра или никогда!».— «Да вы зверь, Павел Захарьевич! «Сама ты зверь, сестра! И таких речей не говори! Мало мне от Евгения терпеть приходится! Вот жду, будто на иголках; вчера пешком до самой Пуговки дошел, думаю: авось встречу сорванца. Сергей Андреевич удивился; Лизавета Афанасьевна расплакалась, поцеловала дочку и сказала: «Вот Сергей Андреевич, как детей любят!»». Газет читать не могу: как пришлет Сергей Андреевич, я только и посмотрю приезжающих; думаю: избаловался Евгений, прежде чем к нам, в Питер заедет; от него всякого зла жди. От политики отстал; не знаю не только, кто теперь остался на испанском государстве королем, даже не ведаю, что наши с Турком сделали; чай Царьград взяли, а Евгений не едет... так уж, сестра, в звери прошу меня не жаловать... Завтра или никогда! сказано, и я на моем слове постою. Фельдмаршал говорил про меня: «Твердый!»». Так я какой-нибудь пешке, Евгению Павловичу Лукачеву, трунить над собой не позволю. Я не зверь. Какой я зверь? Почему я зверь? Вот зверь — Валетка. Подай сюда платок, подай, али я и Евгений до того воспламенился, что последние речи произнес громко...

«Сбудутся, барии, сбудутся!..», сказал Евдоким торжественно с высоты козел: «И уж если вам все одно, куда ни ехать, так поедем В Лукачевку. Сто лет не видел». Но Евгений его не слушал, а потому и не послушал. «Где мне искать тебя, Надинька?», спрашивал он у негомо истуканчика, как ребенок у куклы.

«В Лукачевке, барин!», отвечала Пифия с козел:

«Лукачевка всяким добром богата, а уж если милости твоей пришла охота жениться, так кругом Лукачевки невесты, что горох растут...».

Евдоким разбил радужные мечты воспаленного воображения. Евгений вспомнил про толстый обрубок, имеющий быть его женой, — и статуэта вывалилась из рук; он прислонился в уголок коляски; думу за думой навевала дорога. Евдоким затянул с козел песню:

На толь, чтобы в печали... И Евгений уснул под эту утешительную песню.

## II

Лукачевка! Конечно, Лукачевка не иное что, как деревня; но и не деревня, потому что в Лукачевке не было ни одного крестьянского двора; а вот что было, так было: во-первых, дом длиною на тридцати, шириною на восьми сажнях, в одно жилье. Какой-то казенный архитектор, проездом, был в Лукачевке и советовал Павлу Захарьевичу надстроить второй этаж, да еще посредине третий, в виде мезонина. Павел Захарьевич на такую выходку не отвечал ничего, потому что принял ее на свой счет личной обидой; но, храня свято законы гостеприимства, ограничился только тем, что приказал закладывать архитекторскую коляску; казенный архитектор был человек хитрый, тотчас смекнул, в чем дело и сказал: «Вот, Павел Захарьевич, вы на соседей не похожи. Все хотят жить по новой моде, а что в этой моде проку? Только коленкам больно, будто на голубятню лазить, а удобства никакого. Про нас все одно. Кто хочет по моде, изволь по моде; хочешь хорошо и удобно, так и спрашивай! А трость возьму. То-то же! Так что же, сестра, я тебе Валетка, что ли? Зверь! Хорош зверь. Ты сестра, посмотрела бы, как я флигель для него убрал; а женится, сам во флигель перееду, а ему большие хоромы уступлю. А встречу, какую приготовил!

Тут во всем уезде никогда люминации не видали. Сам я здесь сорок, без малого, лет живу, и одной плошки не запомню; надо было за всем к губернатору посылать. Всю чиновность на завтра зазвал; музыку у Литовцева выпросил; не приедет, так ведь на всю губернию страну наделает, пожалуй, еще в газетах припечатают. Да и состояние, сестра, ты знаешь, какое нам досталось: сто душ без трех числилось по ревизии; и какие души-то шедушные! мякиной кормились, За Марьей Захарьевной, что я взял? Пятьдесят, и тоже не душонки. Бог благословил; в 12-м году, в самую невзгоду, все плакали, да хныкали, а я триста душ накупил, да потом в 18-м году всех заложил, да еще прикупил Мудровку; правда дешево, да четыреста семь душ не шутка, и те заложил: выплатился из долгу, сестер меньших замуж поотдавал, приданое справил... А Евгения не едет! А Лукачевка? Только в ней и было что эти хоромы, да я те полуизгнили: ни убранства, ничего, — сараи, да и полно, а теперь?.. Зверь! Ты поди, сестра, у мужика спроси, зверь ли я! У меня мужик, противу соседских, барином живет. Ну-ка, сестра, у которого мужика лошади, коровы, и всякого скота нет!.. Ну-ка, ну-ка, сестра!.. То-то же, зверь! — А Евгений, ему все нипочем; на готовое готовится; смерти моей ждет, что ли? Так пусть и сидит на родовом, а благоприобретенное — мое; кому захочу, тому и подарю, вот пусть только не приедет! И завтра после заутрени все поедем через Пуговку, на большую дорогу. Пожалуй, у Сергея Андреевича обедню отслушаем. Не его, так гостей встретим... как он себе хочет! В половине двенадцатого за ужин усажу гостей, а ударит двенадцать... прощай, Евгений! Там при всех волю мою скажу; тогда хоть у ног валяйся; не помилую. Дай-ка, мамзель, мне стаканчик пуншу, с горя!..». Речь Павла Захарьевича навела на всех уныние; окна дрожали и усиливали тоску женщин; даже Валетка, заметив расположение Павла

Захарьевича, свернулся в крендель и уснул под стулом. Никто не смел противоречить, даже Пульхерия Захарьевна; она сделала отменно неприятную мину; не хотела чаю и ушла, не простившись, Павел Захарьевич долго еще говорил в том же то-не; Марья Захарьевна выкурила еще две трубки и слушала с тем же ровным вниманием. За ужином никто не мог есть; только Павел Захарьевич, с горя, съел жирную пулярку, выпил бутылку доброго портвейна и, жалуясь на недостаток аппетита, ушел спать...

Блистательно, весело взошло на небо весеннее солнце. По большой дороге быстро, катилась знакомая нам коляска, Евдоким то и дело поглядывал налево, стараясь вспомнить место поворота па Пуговку в Лукачевку; а Евгений?..

Трудно совладать с сердцем. Какой бы ни был почтительный сын, но когда другие вмешиваются в деда сердца, беда... Несчастный бежит от родных, бежит без оглядки, и становится над пропастью, которую в эпическое время называли бездною отчаянья и ненависти; один толчок, одно горькое слово — и он уже бросился в эту бездну, и никакими веревками оттуда его не вытащат. По счастью, Евгений нигде, ни даже в Лондоне, не нашел Надиньки. Найди он ее, и прощай, богатое наследство; прощай благословение отца: и без того и без другого, плохо на этом свете. Правда, Евгений не нашел нигде Надиньки, но и не выронил ее из сердца, не потерял статуэты, которая чинно и постоянно лежала в коляске, возле Евгения, на подушке. Наши пустынные губернские виды еще более усиливали тоску Евгения.

«Куда везут меня?», подумал Евгений: «Каждый час, каждую минуту все дальше и дальше от Надиньки. Ах, где она? Кажется, мой батюшка должен быть доволен моею послушностью! Чего больше он может требовать от меня? Утешенный моим повиновением, через месяц, два, он отпустит меня в Петербург. Надинька в Петербурге, надежда меня не обманывает. О, я знаю, он согласится, ему понравится моя твердость, мое постоянство; это все в его роде. Тогда... Куда же ты это?», закричал Евгений, заметив, что коляска свернула с большой на узкую, грязную дорогу...

«В Лукачевку, барин, в Лукачевку!», торжественно произнес Евдоким, чуть не прыгая на козлах от радости: «Ну, матушка Лукачевка, доберемся мы до тебя еще дообедень, отмолимся у наших Козьмы и Демьяна! Надо же сегодня быть и празднику такому. Одно к одному.

Ну, ямщик, уж я сам тебе из своей мошны полтинничек прикину, только поворачивайся.

— «Эх, брат, рад бы...», сказал ямщик: «да тут проклятая лужина; по весне, да по осени проезду нет; господа было тут плотину поставили, да водопольем разнесло; хуже стало; а вот как ту лужину проедем, так и покатым до самой Пуговки знатно, все под гору, а там до Лукачевки дорога, что садом; — ни задоринки. Барин строго путь держит... Эй вы!».

Поехала, да не далеко доехали; дорога сошла в болотную долину, покрытую, подобно озеру, водой; кое-где торчали колышки от разрушенной плотины и служили маяками для путешественника. Вода бы еще ничего, доставалось только Евдокиму; но самое основание плотины так было разрыто водою, что коляска шла, будто по волнам морским: на каждом шагу то лошади, то коляска западали в ямы и рытвины, то вязли в густой подводной грязи. Такая дорога шла почти на полверсты. Вот уже и берег виден, вот и дорога подымается, и будто змея бежит до самой Пуговки, а Пуговка с зеленоголовою церковью красуется на вешнем солнце; вдруг лошадь запала больно глубоко, выскочила, а коляска за нею, хлоп, два передние паза оборвались, кузов сел на дрогу.

— «Вот тебе раз!», крикнул Евдоким...

— «Ничего, подвяжем...», сказал ямщик; «лишь бы из ямы...». Да не тут-то было. Вывезти, вывезли коляску добрые кони, да колесо едва до сухой дороги дотащилось, да и рассыпалось...».

«Вот тебе два!», сказал Евдоким.

«Да!», отвечал ямщик: «это уж причина! Без колеса не доедешь...».

«Стой-ка, я сяду на пристяжную, да в Пуговку сбегаю...».

«Нет, Евдоким! Оставайся ты при коляске...», сказал Евгений:

«а я пешком пойду; погода прекрасная;

тут больше версты не будет, а там верно найду колесо!».

«Как не найти! Там всякого экипажа три сарая бывало, а теперь чай тоже».

Но Евгений не слушал Евдокима, выскочил из шинели и коляски, схватил свою статуэту и отправился пешком в Пуговку. На нем был щегольской парижский сюртук, пуховая лондонская фуражка, двое женевских часов с цепочками накрест, словом, он шел, будто с Червой речки на Каменный. Даже сапоги на нем были лакированные, и благодаря плотности и чистоте коляски, не загрязненные, не запыленные. «Хороша!.. И проезду нет!», думал Евгений дорогою. «Разве зимою... да кто же зимою станет жить в деревне? Надеюсь, что этого никто от меня не потребует. Ах ты, родимая сторона!». И пошел Евгений высчитывать недостатки родины с таким Юмовским беспристрастием, что можно было счесть его рассказ за правду. В таких и подобных размышлениях достиг он, наконец, и Пуговки. Мерный, редкий благовест разостлался в селе и окрест; у - Евгения забилось сердце по-русски; что-то родное сладко звало душу на молитву. Вздохнул Евгений, и этот вздох не был так тяжел, как другие вздохи о житейском. В задумчивости, он и не заметил, как вступил, в широкую тенистую аллею, как вошел на обширный мощный двор, не видал даже, что у крыльца стояли петербургские щегольские дрожки с пролетом, называемые у нас, Бог знает почему, линейкой. Не обращая ни на что внимания, он поднялся на высокую лестницу, украшенную бюстами и статуями, отворил стеклянную дверь и очутился в прекрасном зале с хорами. Зала была убрана с отменным вкусом; белая с золотыми карнизами; колонны, и весьма милая, под мрамор; пунцовая мебель, паркет, бронзовые люстры... «Что за чудо!», подумал он: «да куда же попал я? Неужели здесь я должен искать колеса!..». В ближайшей комнате раздалась легкая, мелкая и быстрая походка; двери растворились и, с шляпкой в руках, бежала девушка прямо на Евгения! Он отступил, и статуэта вывалилась из рук его. Девушка также смутилась, приметив постороннего, остановилась, присела и бросилась из залы шибче серны...

— «Не сплю ли я?», сказал громко Евгений и взаправду стал тереть себе глаза. «Неужели может быть на свете такое сходство?.. Надинька!».

Но размышления его были прерваны. В комнату вошел человек средних лет, опрятно одетый, в синем фраке со светлыми пуговицами, и вежливо поклонись Евгению, спросил, что ему угодно\*?

— «Вы меня извините...», бормотал Евгений: «право, случай, какого можно ожидать во всякое время по таким дорогам... моя коляска...».

— «Изломалась?», прервал синий фрак: «я тотчас пошлю туда людей; верно на полой долине. Не правда ли?»

— «Совершенно так! Я право не знаю, как вас благодарить, мне так совестно...».

— «О, помилуйте! Да позвольте узнать, куда изволите ехать?..»

— «В Лукачевку...».

— «А, видно вы из города... Сегодня там будет и губернатор,

— и оба предводителя, и барин мой никуда не выезжает, а туда собирается...».

— «Ваш барин?..».

— «Точно так! Сергей Андреевич Безнужный!».

— «Безнужный?!.. А эта девушка, что я имел честь видеть...».

— «Надежда Сергеевна, дочь барина!».

— «Надежда Сергеевна, дочь барина!».

— «Как для кого, а мы ее иначе не называем, как

— Надежда Сергеевна, а барыню Лизаветой Афанасьевной».

— Да вы кто же?».

— «Я-с? Дворецкой его высокородия.

Простите, мне надо и об вас барину доложить, и об вашем экипаже похлопотать; не то беда.

Наш барин в Лукачеве души не слышит, так уж и за его гостями надо ухаживать... Позвольте, как прикажете об вас доложить?».

— «Право, я не знаю, нужно ли это?».

— «Порядок требует. Не извольте чиниться. Ваш чин, имя, фамилия?..»

— «Поручик Евгений Лукачев...».

Дворецкий отступил почти в восторге, если только вводить в восторг позволено дворецкому. Назовите, как хотите это чувство, но дворецкий раскинул врозь руки, разинул рот и пожирал гостя глазами...

— «Евгений Павлович!», кричал он: «вы ли! Неужели вы не узнали Лукича, который так часто бывал у вашего батюшки с газетами и журналами, потому что Сергей Андреевич газет и журналов никому кроме меня не доверяет. Наши соседи прежде, то книжку, то две вечно зажилят, особенно где есть моды; так Сергей Андреевич отдал все книги на мой ответ. Спаси Господи, Евгений Павлович, право, можно сказать, дай Бог в добрый час, чтобы не сглазить... Да куда! Я вперед знал, что понравится...». И Лукич:, как мог скоро, поплыл в ложные двери; между тем из тех, откуда он вышел, показались две дамы. Нельзя было, более сомневаться в подлинности и маменьки и Надиньки. Дамы спешили к обедне, они уже были близко стеклянных дверей; уже маменька взялась за бронзовую ручку дверей и вскрикнула: «Ах, Боже мой! Павел Захарьевич, Марья Захарьевна, Пульхерия Захарьевна, Анна Захарьевна, Наталья Захарьевна, мамзель Куси, ах, Боже мой!».

О! Тогда в сердце Евгения пробудилось новое чувство; он не шел, а летел к стеклянной двери: в глазах его сплошной массой представлялось дорогое семейство, восседавшее на огромной линии; четыре дюжие лошади не без труда везли наследственную колесницу. Павел Захарьевич был в полном гвардейском мундире времен Павла Петровича; Марья Захарьевна в перьях походила па индианку; Пульхерия Захарьевна... Да к чему описывать костюмы; это дело романа, а не кратко, быстрого рассказа. Евгений слетел с лестницы, будто с Тарпейской скалы; не отстегнул, а сорвал фартук линейки, обнял отца, но обнял за ноги, по особенному какому-то влечению, и оросил их слезами. Картина была истинно умилительная. Павел Захарьевич встал; но не мог сойти с линейки; совершенно растерялся, преглупо оглядывался на дам, в особенности на Пульхерию Захарьеву, и громогласно вскрикивал: «А? Что? Каково?»., а дамы плакали навзрыд, как будто хоронили покойника. Между тем и на высокой лестнице раздался голос, который бы мог с успехом петь при Павле Захарьевиче второго баса: «Где он? Где он? Задушу я его за такой сюрприз. Bravo, bravo! Павел Захарьевич! Наша взяла!».

— «А? Что? Каково? Пульхерия Захарьевна! А? Что? Зверь?... А? Поди, сюда, разбойник, ах ты, рожденье мое дорогое, поди, сюда, баловень, поди, сюда, штука ты заморская, дай-ка я тебя подкину»,

И Евгений очутился на воздухе в объятиях Павла Захарьевича. Между тем все высыпали из линей и очутились на лестнице. Евгений переходил из рук в руки, как мячик; все обнимали его и целовали, родные и не родные, а он, предупреждая желанье каждого обнять его, чуть было не бросился в объятья к Надиньке. Движение это было сообща замечено и прекратило сцену свидания. Все улыбнулись, кроме Надиньки и Евгения.

Молодые люди смешались и попали в самое затруднительное положение...

— «Полно, полно, Евгений, печалиться! Обнимешь и Надиньку, коли захочешь...»), сказал Павел Захарьевич тихо: «только прежде надо Богу помолиться, да хоро-шенько с нею познакомиться. Без Божьего изволения и Надинька тебе не понравится...».

— «Ах, мы уже знакомы!», сказал Евгений отцу шепотом.

— «Что? Знакомы? Где, когда?».

— «В Риме!».



— «Слышишь, Сергей Андреевич, Евгений говорит, будто он твою Надиньку в Риме видел\*».

— «А что же, статья может; прошедшим летом, когда Лизавета Афанасьевна от спазм ездила в Италию лечиться...».

— «Правда, правда! Ну, коли вы знакомы, так подай же, Надинька, руку и марш в церковь».

Лукачевы уехали, после пышного обеда в селе Пуговке, на котором присутствовала вся чиновность губернского города. Как только уехали Лукачевы, дамы пошли по своим комнатам, чтобы одеться к балу, который имел быть в тот день в Лукачевке. Вместе с другими и Надинька прибежала в свою горенку, но как другие не стала одеваться. Она схватила бронзовую статуэту, и целовала ее, и обливала слезами. «О, недаром я полюбила тебя, милая богиня!», так говорила она: «Недаром я вспоминала тебя каждый день, видала тебя во сне! Дорогой подарок Евгения! Милый Евгений!.. О, как я буду... о, как я уже счастлива!».

И точно! Вереница экипажей под сумерки потянулась по прелестной аллее в Лукачевку; едва губернаторские кони поставили свои передние ноги на землю Павла Захарьевича, иллюминация вспыхнула; дорога осветилась смоляными бочками; бал был на чудо; Евгений и Надинька не разлучались, а все любовались прекрасной четой и намекали Павлу Захарьевичу на то, что Надинька славная Евгению партия.

— «Порешу, порешу!..», говорил весело Павел Захарьевич. За ужином вдруг музыка затихла. Павел Захарьевич и Сергей Андреевич, сидевшие друг против друга, встали, вероятно, по условию, протянули один другому руки и Павел Захарьевич рече:

— «Дорогой сосед, жили мы с тобой в любви и дружбе. Того и детям желаем».

— «Отцы строятся, а дети в тех домах живут; мы им доброе изготовили; дай им Господи здорово и покойно его дарами наслаждаться...», сказал Сергей Андреевич и бросил на всех довольный взгляд.

«Красно сказано...», заметил Павел Захарьевич:

«да известно, что ты на это мастер. Нет, сосед, скажи пояснее».

— «Изволь! Я благословляю, а там их воля! — Ясно? Евгений, вот тебе невеста, а благословение от Бога!».

Евгений бросился в ноги к отцу, а Павел Захарьевич сказал торжественно и стоя:

— «По-русски, Евгений Павлович! По-русски! Люблю за обычай... От руки только Бога и отца прочное счастье Шампанского! Туш за здоровье жениха и невесты!».

— «Ура!», раздалось со всех сторон и того же лета, в той же зале и те же гости кричали ура новобрачным.

## ПУБЛИЦИСТИКА

Публицистикой Н. Кукольник начал заниматься давно, но все его ранние публикации (примерно до 1850-х годов) на первый план текущей - жизни общества выдвигали вопросы культуры, - искусства, музыки, театра. Поэтому и сегодня Н. Кукольник вполне обоснованно признается первым художественным критиком в России, который в свое время даже был удостоен за эту работу почетного звания Академии художеств России. Однако постепенно, начиная с 1850-х годов, Н. Кукольник начинает обращаться к социальным вопросам. Вначале робко, потом все полнее и злободневнее. Этому способствует его непосредственное знакомство с русской жизнью на периферии во время командировок на юг России. Д 'Впечатление от знакомства весьма впечатляющее. Вот как Н. Кукольник формулирует его в своем дневнике за 1856 год, сразу по окончании Крымской войны:

«Вместо того, чтобы писать исторические романы и драмы (...) я отправился считать кули с мукой и смотреть, только смотреть, искусно ли плутуют и мошенничают, люди. Насмотрелся! (...) Я верил русскому патриотизму от души, и восхищался этим великолепным маскарадом, не знал, что все в личинах».

Особенную актуальность приобретают публицистические выступления Н. Кукольника после реформы 1861 года (отмена крепостного права) и сопутствующих ей судебной, военной и другим реформ. Эти выступления отличаются особой актуальностью, ибо охватывают такие жизненно важные проблемы российской жизни, как строительство железных дорог, экологическую защиту Азовского моря, историю и перспективы развития донского казачества, административно-территориальное устройство России и проблему местного самоуправления.

В отдельных своих выступлениях по конкретным вопросам, Н. Кукольник затрагивает интересы должностных лиц, грубо попирающих законы и нравственные начала. Это вызывает резкие гонения по отношению к Н. Кукольнику, особенно со стороны таганрогского градоначальника и ведущих представителей Таганрогской элиты. Статьи Н. Кукольника отказываются публиковать как средства массовой информации, придерживающиеся левой ориентации, так и консервативные издания.

Именно в этот период Н. Кукольник публикуется в газете «Голос» анонимно, даже не подписывая статьи. Поэтому точно сказать, что же именно было написано Н. Кукольником, невозможно. Но если Н. Кукольнику как-то содействует в публикации его статей и очерков А. Краевский, то такие ведущие издатели-журналисты того времени, как М. Катков, А. Писемский, Некрасов, А. Старчевский и даже А. Кушелев-Безбородко или отказывают Н. Кукольнику, или просто не отвечают на его обращения и обращения лиц, ходатайствующих за Н. Кукольника.

В это время Н. Кукольник придерживается либерально-демократических убеждений и выступает как консерватор. Эта идейная позиция полнее всего проявляется в эпистолярном наследии Н. Кукольника. В публицистике Н. Кукольника (особенно той, что не опубликована) наиболее отчетливо просматривается отрицательное отношение к левым, к идеям коммунизма и социализма, а точнее лицам, проповедующим их в России. Показательна в этом отношении незаконченная работа Н. Кукольника под названием «Вопросы русской жизни». Сохранился плен этой работы. Он включает 53 раздела, в которых должны были быть раскрыты самые разнообразные вопросы, начиная от проблем театра и искусства до вопросов государственного управления Россией. Однако кроме плана практически ничего не сохранилось (если, конечно, было написано). Те небольшие наброски после плана, которые дошли до нас, показывают, что предполагалось создать что-то вроде повести или романа, в котором показать жизнь некоего Карла Карловича, большого приверженца западных идей. Карл "Карлович представляется перед публикой как русский экономист, который пишет различные статьи на эту и подобные темы и слышет среди молодежи «новым Гегелем, вторым Белинским». Неожиданно на Карла Карловича сваливается крупное наследство, и тут возникает коллизия: брать ли наследство и отказываться от проповедуемых идей или все же не брать, оставаясь и дальше проповедником всеобщего равенства и противником богатства. Побеждает первое.

Обстановка реформ побуждает теоретика социализма вложить благоприобретенный капитал в дело, пустить этот капитал в оборот, но неприспособленность к практическим делам, непонимание законов, движущих реформами, приводит к тому, что Карл Карлович терпит жестокое поражение и, естественно, вынужден опять вернуться к прежней деятельности. Но тут уже просматривается новое качество «второго Белинского и нового Гегеля».

«Я так и вижу, — пишет Н. Кукольник, — как он подымает огромный булыжник, чтобы поразить нас с вами, беспристрастными и независимый читатель».

Работа осталась практически не начатой, но даже и в только что приведенных словах Н. Кукольника-публициста видно, что он предугадывал тяжелые последствия для России того явления, которое в последующем Ф. Достоевский точно назовет «бесовщина». Знал ли о работах Н. Кукольника Ф. Достоевский, сказать трудно (сведений об их контактах пока не обнаружено), однако тот факт, что один из героев

«Бесов» внешне и внутренне напоминает Н. Кукольника, и даже откровенно характеризуется Ф. Достоевским «наш Кукольник» кое о чем говорит...

Публикуемые статьи Кукольника затрагивают вопросы, сохранившие актуальность и в наши дни.

## ФИНАНСОВЫЕ ЗАМЕТКИ

Один из самых важных наших недостатков — это наша опрометчивая увлекательность, с какою, вследствие нашей подражательной природы, мы бросаемся на всякую новинку. Вот пошел, например, у кого-нибудь удачно пивоваренный завод, и вот пошли варить пиво и все подорвано вовсе, и вместо пива продают Бог знает что такое. Древний говорил; при идите, запьем пиво новое!!! Право, это наш девиз, хотя вместо пива окажется ржаная каша с неразлучным ее качеством самовосхваления.

Этот пересол у нас проявляется везде. Хорошо еще, если мы этим пересолом встречаем американцев. Это еще не разорит публику, обогатит рестораторов и винных торговцев и *Basta così*. Над нашими восторгами подтрунят; ушиб без раны скоро забудется. Но если этот пересол касается стихийного финансового вопроса, то кажется следует облечься во всеоружии самой бдительной осторожности и не отдавать пяди арены без разумного и беспристрастного оспаривания.

У нас первую железную дорогу построило частное общество (Царскосельскую), вторую — правительство (Николаевскую). Что же обнаружили первые два опыта? Казенная постройка обошлась дорого; эксплуатация казенная оказалась убыточной. Возникло Главное Российское общество и Рижско-Динабургская железная дорога. При огромных беспорядках, веровавшихся в Администрацию Главного Общества, при бесчисленных противодействиях, какие она встречала в исполнении своих обязательств, мы все-таки получили две превосходные железные дороги, коих эксплуатация постоянно возрастает к лучшему; Рижско-Динабургская и Московско-Сергиевская утвердили просто преимущества сооружения железных дорог за частными предпринимателями. Путь был указан, опыты умножились, могли только совершить систему, но нам для подобных сооружений требуются деньги; порядок, препятствующий непомерной наживе; то в этой сфере русскому <предпринимателю> стало тесно, пока он не ухитрился найти себе лазейки. Первый обход прямой дороги обошелся по наружности довольно благополучно; немалый участок железной дороги построен на одни облигации. С оскорбительным и вредным для русского кредита понижением запродаанных угонных метров, но в процентах, в ч. в 6, и, наконец, в 5 за сто!!! Но от этого общий угонный капитал уменьшился на 30%. Как же на этот капитал построить дорогу, положить и всего один путь? Номинальное исчисление было широко так, что его бы хватило и на двойной путь, но с удержанием в запасе акций и понижением облигационного капитала на одну треть. Поневоле пришлось строить как можно дешевле, т.е., как можно хуже.

Страшный опыт не замедлил обнаружить маневр, но пока гроза разразилась, пример быстрого обогащения не мог не отразиться самым соблазнительным образом и увлечь спекулянтов на ту же дорожку. Проекты концессий посыпались как из мешка. Каждый город затевал дорогу к себе; добродетельные, услужливые люди везде поспедали явиться с китайским фонариком и на белой стене их выбрасывали перед новыми людьми громадные тени Ротшильда, Пергири, Бериния, Гопс; словом, не было в Европе такого капиталиста, который не был готов бросить миллионы, по одному мановению магического жезла. Земство вообразило, что оно может построить какую угодно дорогу, что капиталы у него сидят под рукой, стоит только рукой махнуть. Правительство возьмет у них акции по 80 за сто, а облигации они сбудут, хотя по 60 за сто. Не велика беда. Денег станет и на дорогу и на прочее.

Не правда ли, вопрос сразу принял огромную важность, пущен выход, без предварительной критики, без оправдания, по крайней мере, одним-двумя серьезными

опытами. Положим одна, много — две железные дороги этим порочным методом будут построены; но какие в будущем ожидаются последствия? Эти фальшивые комбинации и ждать своих плодов не заставили. Германский рынок для русских железных дорог окончательно испорчен. Облигации продаются по 67—65 руб. за сто, масса бегут в Россию, наводняют Петербургские биржи по случаю финансовых затруднений на Западе, и собирающихся us горизонте грозных политических туч — предлагаются за бесценок, но мы, обанкроченные нашим пересолом, и этим не можем воспользоваться. На Лондонском рынке русские дела встречали недавно некоторый привет и одобрение. Этим можно было воспользоваться, и восстановить кредит наших железных дорог, но честными комбинациями, без накладных непомерных расходов, при твердом порядке, администрации открытой и откровенной.

## II

(...) Сочинители брошюр и статей за границей, за ничтожным исключением, говорят правду, которую совсем и нетрудно поверить на фактах у себя дома; но никто не даст себе этого труда; не обвинительные брошюры и статьи поскорее стараются навести тень клеветы, личного раздражения, неприятельской политики, и зло продолжает расти; и поле русское действительно заросло сорной травой, высоко и густо, так что и верхом в этой степи не проедешь. В благих намерениях Государя сомневаться нельзя. Не может быть, чтобы и сам Государь не сознавал необходимость устранить Рейтерна, но взглянув на сорную степь, я думаю, не раз сердце его приноет...

(...) Когда говоришь с Рейтерном, подымается небольшой вопрос: Господи Боже мой, да каким же это чудом сей человек попал в Министры финансов? На этот вопрос гр. Д. Н. Т. мне отвечал легендой, которой трудно верить, но он ручается, говоря, что в этой компании он и сам был действующим лицом. Великий Князь Константин Николаевич был сделан Морским министром замолодо и сердце ли у него чуяло, только пошло гонение на немцев, так что около Великого Князя в короткое время ни одного немца не оказалось. Император Николай это заметил и выразил сыну за такое пристрастие — сильное неудовольствие. Что тут делать? На домашнем совете Головнин, нынешний печальный Министр просвещения, предложил примирительную меру: возьмем немца поплоче; Государь и успокоился. Выбрали Рейтерна. И не ошиблись. Плоше из немцев и тогда и теперь найти трудно. Для более блистательного эффекта послали немца в Америку — контролю учиться; в Европе для такой ягоды поля не нашлось. (...).

(...) Министром финансов был тогда знаменитый в летописях неспособности Брок, что всю Россию отдавал откупщикам на оброк, и кроме откупов ни о какой финансовой комбинации и не промышлял. Я весьма жалею, что случай лишил меня возможности видеть этого человека в министерском кабинете. Должно быть уморительная потеха. На вопрос Великого Князя Брок запнулся. Причина финансового кризиса в Америке, отвечал он будто бы, вероятно заключается в вольной продаже вина; впрочем, я так наскоро не могу ответить, дело обширное; я буду иметь счастье доставить по этому предмету записку. Константин Николаевич ждет записки день, ждет два, ждет неделю. Головнин и говорит: «Да зачем нам Брок, когда у нас на месте есть свой финансист? Он доставит нам сведения по лучше Брока». Написали. Рейтерн распорядился, заказал статью. Склеили за 20 долларов отличную записку; перевели на русский, послали; все так и ахнули. «Вот вам Министр финансов», — в умилении воскликнул Головнин. Так и порешили, и когда по добросердечию Александра Максимовича Княжевича неблагоприятная интрига Грота созрела, роковое письмо было пущено в публику посредством копии. Прежде, чем курьер донес его до Министерской приемной, Княжевич обрадовался случаю, чтобы отделаться от тяжелой должности и поехал к Государю с просьбой об отставке, преемник ему уже был на стол подложен; Грот горько ошибся: министерский портфель передан не ему, а знаменитому американскому финансисту Рейтерну.

Я был тогда в Петербурге; приехал к А. М. Княжевичу десять минут по возвращению его от Государя. В Семействе была замечена смута, и весьма естественная, но сам А. М. был не-притворно весел и доволен; не был бы он так рад, если б знал, что ожидает Россию при его американском преемнике. На мой вопрос о Рейтерн отвечал с улыбкой: «Кажется, знающий человек!».

У меня таки было и городское дельце к Министру финансов. По старой, и до сих пор не изменившейся, ко мне дружбе Ф. Т. Фан дер-Флита и по совету его, явился я к знаменитому человеку. Он принял меня в Министерстве в кабинете Канкрина, в том самом кабинете, где Канкрин написал сампропрту знаменитое объяснение на обвинительные пункты Киселева с братией, прочитанные Канкрину в присутствии Государя, в первом и последнем заседании особого, чрезвычайного финансового Комитета. Этого объяснения, кроме Государя, никто не читал.

— Так ли, Ваше Величество? — спросил Канкрин, когда Государь прочел кругом исписанный лист почтовой бумаги.

— Так! — ответил Государь твердо, но мрачно.

— Ну, так я этим господам ответом не обязан Тем Комитет и кончился.

Я чуть не перекрестился от удивления, когда увидел Рейтерна в кресле графа Канкрина. Американский министр сидел затылком к свету и вертел в руках карандаш. Даже своего лица не соблаговолил повернуть к просителю в черном истертом фраке, который и теперь донашиваю, безо всяких официальных орнаментов, каковых и доньше не имею. Я мог только заметить, что новый министр должно быть саксонской породы, по беловластия, хорошо откормлен, а это очень важно, потому что на Руси с древности дородство считалось государственным талантом.

— Садитесь! — изволили сказать довольно грубо. — Эка штука! — подумал я, разумеется сяду, и сел...

— Ну-с, — изволили посмотреть на часы. — У меня есть свободных пять минут. Говорите!..

— Пожалуй! — подумал я и выложил на стол мое городское дело. Тут уж они заговорили, но по несвязности и непоследовательности идей и слов, сколько я ни бился, никак не мог записать стенографически в памятную книжку истинно американских речей. Да и почему записывать? Очевидно, что Рейтерн о моем предмете решительно ничего не знает; пусть поучится, авось тогда мы будем в состоянии понять друг друга. Заметив высоту понятий Рейтерна, я скоро ретировался, чтобы еще хуже не испортить чужого дела. Знающий человек, если не поправит, то уж во всяком случае, не испортит дела; а у такого Барона, кто его знает, какая у него фантазия.

Грустный, больно грустный воротился я домой. Обедать не мог. Подниму кусок говядины — Канкрин на кончике. И ввечеру не мог рассеяться. Предчувствие мучило и не обмануло меня. Я завидую тем, которые государственное горе не считают своим. Пусть себе разоряется государство, лишь бы им было хорошо и покойно. И давно ли? Если не ошибаюсь, прошло ровно четыре года — и где Россия? Золото и серебро исчезло; Государство кровью изошло, испуганный народ остальные металлические деньги под землю запрятал; Государственный долг взглянуть страшно. Бумаг и бумажек расплодилось — счету нет; не успеют выпустить новую бумагу, глядишь 90 за 100 уже дают, а то и 72 и меньше, вот как выкупные свидетельства. Уж если свои веры, то за границей сколь ли иначе?

Ни слова, быть министром финансов в России, дело не легкое. Их было у нас много. Но много ли таких, которых память признательно сохранила истории. Всего двое: граф Васильев и граф Канкрин. Граф Васильев еще ждет истории; о графе Канкрине, что помнил, рассказал. Знаю только то, что для того, чтобы быть хорошим Министром финансов, необходимы и теоретические сведения и обширная практика; та пи, другая сторона перевесит — беда. Теория угонит финансы в болото; практика одна наведет застой. А если у Министра нет ни теоретических сведений, ни способности их усвоить, никакой практики хотя бы в молочной лавочке, решительно никаких этнографических

знаний о России — можно себе представить, что должно последовать при таком Министре финансов. (...).

Рейтерн едва ли видел, как в Остзейских губерниях разводят картофель; воспитывался в заведении (Лицей), которое без продолжения образования в Университете необходимо производит междоумков; попав в созвездие администраторов потому только, что он был поплоче других немцев; по службе нигде ни в чем не отличился; даже с канцелярским механизмом знаком не был, попал в Министры как будто выиграл это место в лотерею, вся комедия «Мещанин во дворянстве» должна была с ним повторяться в лицах. Несправедливость, важничанье, бесстыдная дерзость обращения, отсутствие системы, грошовая экономия на сальных огарках с обидою лиц и нарушением правды и бесконечные займы — вот и вся его финансовая мудрость. Дефицит и долги растут; Россия дотла без денег, все отрасли поражены убийственным параличом; да я бы никогда не кончил, если бы вздумал войти во все подробности вреда, наносимого Министром финансов. (...) Каким же образом может держаться на месте такой Министр, спросите вы...

Сколько угодно спрашивайте, не отвечу. Решительно и сам этого феномена не понимаю...

(...) Во время Севастопольской смуты, когда все, что носило Русское сердце, изнывало в стыде и негодовании, я приезжал с печального юга в бестолковый Петербург и навестил Митрополита Никанора, потому что любимый сердечно Святитель всегда обнаруживал ко мне лестное расположение. Я нашел его на ногах, но в глубокой смертельной грусти... 'Разговор не клеился; через слово и у него и у меня — тяжкий вздох; наконец необходимость высказаться взяла верх.

— Плохо, Нестор Васильевич!..

— Плохо, Ваше высокопреосвященство. Да Бог милостив...

— Бог-то милостив, да мы-то милости его во зло употребляем. Не бывать добру..

Никогда не забуду раздирающей мелодии этих двух страшных пророческих слов. Желтоволосый святитель, сдвинув свои черные брони, сверкал своими огненным глазами, уже зажженными близкою смертью, был живописно ужасен; да еще под свое собственное горе,... нет, никогда не забуду, хоть и вспоминать страшно!

«Да и как ему быть» — продолжал Святитель. — «Кто такие наши Генералы, наши правители? Родится, его крестят, тут же говорят: «Быть тебе Гене ралом-адъютантом, быть тебе Министром». Так тут заслуг проходу нет. К занятию каждой должности надо готовиться, идти по лестнице, а эти прыгают. Видел я на моем веку Много Губернаторов, Вижу и теперь и высших Сановников, приедет Губернатор... Ну, положим, по ошибке назначили. Возьми его на экзамен построже школьного. Расспроси его обстоятельно. Обнаружится каков. А то прибежит на почтовых. Представился, откланялся и поскакал Губернией, гражданским делом править... То же и Генералы. Разве и эти, как у них называют, маневры, плохой экзамен? Плохо, плохо, Нестор Васильевич!»

Я не смел, противоречить, хотя и крепко хотелось утешить Старца, который видимо без надежды сходил в могилу. Мне даже пришло на ум рассказать Высокопреосвященному про московские Голицыне кие крестины, да, слава Богу, как-то удержался. Видал и я на своем веку этих губернаторов из Военного металла. Тут, впрочем, напрасно обвиняют военный элемент. Причина простая. Как человек всю жизнь сам маршировал, потом смотрел, как другие маршируют; маленький генерал - его в Губернаторы; большой — его в Министры или в Государственный Совет; бедный — в лесу, и рад бы, да не в мочь. Для него Свод законов и Кодекс Юстиниана — все равно; ни того, ни другого в глаза не видал. Петр III хотел составить Уложение на немецком языке... Что же, это бы не стеснило многих губернаторов, не знающих немецкий язык. Я не так глуп, чтобы согласно мнению наших красных демагогов советовать ко всему, даже - к назначению административных лиц применять выборное начало; но полагал бы весьма бы недурно, чтобы Совет Министров избирал

Губернатора, по представлению своих директоров, — представлял на благоусмотрение Государя своего кандидата; это был бы суррогат личного знакомства со способными людьми. Если угодно, можно бы со всеми этими кандидатами и поговорить, пощупать рекомендацию, и пообедать запросто, и тек, для примера, порученьице дать, и тогда уже удостоить назначения. Ведь и деревцо прозорливый садовник на видное место пересаживает из школы, где он мог уже убедиться в его хороших качествах. Но пока у нас этого заведения нет. (...).

Недавно дерзкий деспотизм Рейтерна послужил поводом для небывалой истории; не стесняясь правилами справедливости Рейтнер, в противность высочайшему повелению, так себе, в припадке самоуверенности, что ему все можно, заблагорассудил отказать городу Одессе в уплате денег, следующим ей по воинской повинности. Валуев, вместо того, чтобы внести дело в Комитет Министров, так как тут нарушалась Высочайшая Воля, отправил дерзкий ответ Рейтерна в Одессу.... Собралась Дума, в которой головой князь Воронцов, а гласный — граф Александр Григорьевич Строганов, бывший министр внутренних дел, потом Новороссийский Генерал-губернатор, теперь только Гекерал-адъютант и первый Градоначальник города Одессы.. Прочитали диковинный ответ. Граф встал и, замотав рукою перед носом, сказал твердо и громко: «Министр лжет!». Повторив еще раз эту сильную фразу, оратор не мог продолжать, потому что вся зала рукоплескала. Когда, и то с большим трудом, успокоились, граф Строганов в немногих словах, но довольно смелых и оригинальных, обнаружил деспотизм и самоуправство Рейтерна. Дума издает свою особую газету, и на другой же день — речь Строганова была напечатана. Кумера этой газеты с первой почтой явились в Петербург. Речь, которая всем, решительно всем, чрезвычайно понравилась, списывали, точно, бывало, стихи Пушкина; все были уверены, что будут приняты предупредительные меры, чтобы она не явилась в столичных газетах; но газета «Весть» предупредила новоучрежденное Управление по делам печати и поместила знаменитую речь в своем четвертом Нумере — и этого нумера в тот же день у книгопродавцев нельзя было достать за большие деньги. Чиновная и нечиновная публика разнотолковала. Кто находил поступок графа Строганова подвигом гражданского мужества Мордвинов; кто лукаво припоминал действия графа, когда он был сам Министром, кто хвалил, кто осуждал, но все были благодарны, что громкое обвинение в неслыханном абсолютизме пало публично на Рейтерна, — и без страха, но с любопытством ожидало последствий,

Первое последствие было чрезвычайно забавно. «Весть» получила первое предостережение за такие пустяки, которые решительно не заслуживали никакого внимания, что, разумеется, увеличило только подписку на газету, обыкновенный результат предостережений. По городу ходили темные слухи, что совещания о выходе гр. Строганова продолжаются, что Рейтерн обиделся и требует сатисфакции, не у Строганова, а у Государя; ни к селу ни к городу Рейтерн напечатал в газетах чрезвычайно наивное опровержение, что Министерств финансов по одесскому вопросу всегда понимало это дело по-своему. Разумеется, это весьма опечалило публику, страстную любительницу зрелищ. Значит, ворчали, кругом и около, больше ничего не будет? Как жаль! Прекрасный случай упущен... Но через два или три дня в газетах напечатано высочайшее повеление, весьма грозное. Графу Строганову объявлен выговор; князю Воронцову, да еще через Коцебу, монаршее неудовольствие. Красные заликовали; они очень хорошо понимали, что подобная мера невыгодно отзовется в сердце русской аристократии и произведет глубокое, хотя и затаенное огорчение, лучший союзник их видов. Белые, т. о. благонамеренные, хотя и не многочисленные, утверждали, что к этой крутой мере подвинул и происки Русского Жонда. - Это название вы встречаете первый раз, но в Петербурге этим именем называют Лигу красных чиновников, заклятых врагов аристократии, которые имеют возможность и пользуются ею искусно, чтобы постепенно усиливать в сословиях раздор и общее раздражение, как лучший путь к приготовлению Демагогических переворотов.

Называют некоторые лица, но большая их часть, точно Польский Жонд, в глубоком мраке и тайне. Не думаю, чтобы это было уже организованное учреждение, плод заговора. Раздражение велико, это правда, но чтобы, основываясь на нем, мог быть затеян демагогический заговор, скольконибудь напоминающий Жонд Польский, не верю. Скорее эту кличку дают в насмешку или замаскированных агентов или (...) и благонамеренные ошибаются. В утешение они ждут, что Государь, так жестоко наказав Государственного Сановника, (...) повременит несколько, чтобы не испортить впечатления грозной монаршей воли, а потом при первом удобном случае переведет Рейтерна на покойное место. Так думают многие, но не я. Рейтерн сидит плотно. (...). Мне говорила одна дама, хорошо посвященная в придворные тайнства, что Рейтерн именно и берет своею дерзостью, которая по резонансу Зимнего Дворца, отдается искренностью и прямою. И это весьма вероятно. (...).

Уверяют, хотя опять-таки трудно верить, будто бы Государь и сам сознает необходимость избавить Россию от Рейтерна и К, но стесняется недостатком людей, не имея в виду никого, кем бы можно было заменить его. Мне кажется, это грустное затруднение происходит именно (...) от малого числа лиц, непосредственно известных Государю. Дельных людей, способных занять место Рейтерна с честью, у нас мало. (...).

Министерство Рейтерна, не представляющее ни одной сколь-нибудь разумной финансовой комбинации, ни одной рациональной реформы, всю свою мудрость свело на долги, на займы, которые в короткое время обратились в тяжкое бремя, довели Россию до окончательного истощения, так что мы теперь уже не в состоянии платить процентов металлическими деньгами. Все формы заключались или в перемене вывесок на Департаментах, или в гибельных мерах, потрясавших государственный строй как то Единство Калек, и тому подобные нелепости. Занимая за границей десятки миллионов, мы у себя сокращали необходимые расходы, собирали сальные огарки, как в басне Крылова, лишали заслуженных людей возможности существования, подорвали внутренний и внешний кредит, остановили торговлю. Банковские меры, одна хуже другой, обогащали на наш счет иностранных банкиров; словом, никогда еще господствовал такой хаос в наших финансах, как при Рейтерне. (...),

Только что вчера совершившееся событие еще больше убедило меня, что судьба, фатум, тяготеющая над бедной Россией, еще долгое время не снимет с нас немецкого ига, удержит еще много лет Рейтерна на финансовом престоле и пересадит его в нашу французскую академию, государственный совет тогда только, когда у Рейтерна окажется состояние в несколько миллионов, а в России не окажется и медного гроша. И того и другого, впрочем, ждать не долго.

1866

## ЗАМЕТКИ

— Отчего вы давно не пишете? — спросил меня недавно какой-то любопытный турист на пароходе.

— Отчего я ничего не печатаю? — отвечал я. — Очень просто. Читать некому. Наши древние читатели перевелись. Идеальный мир нашей поэзии разбит, точно стеклянный шар, в котором отражались радужные, игривые тени поэтической фантазии. Теперь нам не до них. Нас душит кошмар живой сущности. Вся масса полов, которая прежде и наслаждалась чужими мыслями, теперь сама думает крепкую народную думу. Прежде за нее страдали труженики искусства, одевая вопросы и ответы насущной жизни в чужое платье. В этом маскараде все играли в загадки, и нередко костюм исторического судьи, администратора принимали, на слово, за самую историческую личность. Теперь каждый, и все вместе — страдают и трудятся сами, добываясь живой и нагой правды, незапутанной в хлопчатую бумагу красных слов и намеков. Литературы, в художественном смысле слова, у нас нет и быть не Может; такая



литература есть роскошь, блистательный бал, но как же быть, когда мы еще не устроились? Старого здания еще разобрать не успели: вчера только ломать стали; а для нового теперь только начали чертить планы, составлять проекты; и нелегко все это, потому что и ходить еще трудно: в старой грязи ноги вязнут. Прекрасные реформы волнуют власти, тогда оно обратится только в пустую форму. Потому что избранное лицо может быть — да и обыкновенно так бывает — совершенно той власти неизвестно. Наконец, откуда опасение? — Для того, чтобы выбрать голову общество три раза себя дистиллирует; во-первых. При выборе представителей сословий (выборных); во-вторых, при выборе гласных в общую думу; наконец, при выборе головы. Каким же образом можно тут ожидать ошибки или пристрастия? Безобразие нынешних выборов не может внушать опасения за будущее. Наконец, если каким-нибудь чудом не выберут недостойного или неспособного, кому же сделают вред, если не самим себе?

И потому, кажется, было бы вполне справедливо и совершенно безопасно, чтобы утверждение городского головы освещалось волей самого общества, без всякого вмешательства внешней или общей административной власти.

Но и при соблюдении последнего условия городское управление на новых началах не будет еще иметь полной независимости от гнета нынешней административной власти, если ей с какой бы то ни было инстанции будет предоставлено рассмотрение и, с какими бы то ни было ограничениями, утверждение городского бюджета или росписи. Это право несравненно опаснее утверждения головы и гораздо более подвергает город произволу местного начальника. Объясним примером. Не угодно ли думе отпустить несколько тысяч рублей на исправление дома, занимаемого начальником? Дума говорит, что дом во все прошедшие годы усердно чинили, и отпускались на то немалые суммы. Начальник настаивать не будет, а уж можно быть уверенным, что роспись вся будет исковеркана, и утверждения, или пропуска. От местного начальника не получить, и таких случаев, *ex facto*, сотни. Не лучше ли отойти от зла и сотворить благо? Не лучше ли и не вводить в искушение, не подавать повода думе входить в сделки, чтобы облегчить пропуск необходимого? И кто же эта общая дума, если не само общество в лице лучших своих представителей, у которых и совесть, и общественное мнение, и личный интерес, как граждан, отнимают всякий произвол, всякое корыстное побуждение? Хозяин без надобности и копейки своих денег за окно не бросит, тогда как постороннему лицу и тысяч чужих не жаль, и потому частенько городские деньги обращаются на расходы совершенно безнужные, может быть, и выгодные для кого-нибудь, только не для города. А между тем, город и необходимого не имеет. Мы знаем города по доходам весьма богатые, но по милости этой административной опеки, не имеющие ни достаточного числа церквей, ни городского дома. Ни воды, ни мостовых, ни приличного освещения, ни городского театра, ни других по местности необходимых вещей, тогда как по доходам все это давным-давно могло бы быть сделано. И если, в честь и память старой рутины, городскую роспись будет утверждать не само общество, в лице общей думы, без всякого вмешательства общей административной власти, то обо всех по городам улучшениям, видимо возможных и настоятельно необходимых, еще надолго можно решительно отложить всякое попечение.

Страх старой рутины по привычке еще слишком велик. Продолжительное и резко произвольное влияние внешней административной власти на внутренние городские дела, — которые и поныне продолжаются — лишало местные городские комитеты необходимой независимости. И поэтому во многих проектах положения, одержимые этим страхом старой рутины, комитеты ухитрились ослабить произвольное влияние внешней власти, но, беспрестанно запинаясь и заикаясь, потому что это влияние, как сказано, еще продолжается и угрожает неприятностями по службе и другим отношениям. Некоторые местные начальники позволили себе даже критику желаний городских обществ, в виде особых собственных мнений и в видах не выпустить из рук

такой выгодной для них опеки, а потому, если в проектах положения встретятся, в этом отношении чрезвычайно разнообразное разночтение, то удивляться нечему. Можно ручаться, что мнение комитетов самых искренних есть задушевное желание всех русских городов.

Точно также, страх старой рутины допустил в некоторых проектах положений, в делах распорядительной думы, участие прокуроров и уездных стряпчих, в виде даже юридической реформы, уничтожающих прежнее их значение. И в самом деле, к чему нужно участие этих посторонних лиц в домашних делах общества, чисто хозяйственных, не имеющих ни малейшего юридического характера?

Тот же страх старой рутины заставил положить на себя гнет контроля казенных палат. Как раздумаешь покойно, сам не понимаешь, к чему этот контроль нужен, какие злоупотребления он должен предупреждать. Источник правильности расхода есть приговор общей думы, утвердившей роспись. Значит, и проверка расходов по этой росписи принадлежит исключительно и окончательно одной общей думе, тем более, что тут казенных денег и нет, несмотря на то, контроль во многих проектах, а может быть и во всех, оказался за казенными палатами. ...'Вот что значит у страха глаза велики!

Все эти ошибки вкрались под грозный ропот старой рутины, частичек и от чрезвычайной поспешности, с какою в некоторых городах принуждены были работать комитеты, призванные к занятиям, по распоряжению местных начальников, слишком поздно. Но, к утешению, живет общее убеждение, что при общем рассмотрении мнений и желаний всех русских городов эти промахи сами собою изгладятся, и мы получим положения, которые дадут русским городам возможность свободного и независимого домашнего хозяйства, органического последовательного развития и существенного благоденствия, от которого зависит существенное благоденствие и всего государства. «Голос», № 33 за 1863 год.

## ПИСЬМА

Эпистолярное наследие Н. Кукольника совершенно не изучено. Полностью опубликована и прокомментирована только переписка с М. И. Глинкой. Но и здесь отчетливо просматривается неприязнь к Н. Кукольнику, которая выражается в обвинениях последнего в том, что от имени М. Глинки отдельные письма И. Кукольник, якобы, писал сам себе. Кроме того, письма Н. Кукольника публиковались в «Русской старине» за 1901 год и в VI Щукинском сборнике (1908). В «Русской старине», например, напечатано 15 писем Н. Кукольника и «Зеленая книжечка» (напутствие племяннику, содержащее изложение взглядов Н. Кукольника по многим вопросам, в том числе и русскому). 8 Щукинском сборнике опубликовано 12 писем Н. Кукольника к скульптору Н. Рамазанову, Эти письма относятся к периоду, когда Н. Кукольник находился в донских краях. Имеются публикации отдельных писем (около десятка) в различных периодических изданиях («Русская старина», «Исторический вестник», «Русская музыкальная газета» и др.).

Краткая библиография писем Н. Кукольника дана И. Кубасовым в «Русской старине» за 1901 год (март, стр. 685).

Публиковались письма Н. Кукольника и в советское время в сборниках научного характера, но количество таких публикаций не превышает пяти. Отдельные письма к Н. Кукольнику (например, В. Стасова) были опубликованы в собраниях сочинений или избранной переписке. При этом, как правило, об ответе на эти письма не упоминалось, хотя ответы сохранились.

В различных архивах удалось разыскать около 300 писем Н. Кукольника и к нему, из которых нам пока удалось детально прокомментировать всего 95. Подавляющее число этих писем никогда не публиковались. Но даже в опубликованных можно выявить

изъятия, причем исключенные места в автографах просто перечеркнуты, и в таком виде автограф хранится в настоящее время в архиве.

Все письма, учитывая характер деятельности Н. Кукольника, можно разбить на частные и служебные. К последним можно отнести докладные, донесения, заявления и т. д. Они содержат весьма ценную информацию по состоянию угледобывающей промышленности на юге России, строительству железных дорог Воронеж — Ростов и Харьков—Таганрог—Ростов, военным событиям на Кавказе и Крымской войны.

Отдельно надо выделить письма, которые Н. Кукольник писал в жанре публицистическом, объединяя их в общие циклы под названием «Письма» («Астраханские письма», «Азовские письма», «Письма к потомкам» и т. п.). Строго говоря, письмами как таковыми они не являются. Уже в период издания «Художественной газеты» Н. Кукольник опубликовал статью под названием «Письмо в Париж» (1837). Можно назвать также статью «Нераспечатанное письмо» («Иллюстрация», 1845), цикл статей «Астраханские письма» («Дагерротип», 1842) и «Азовские письма». Последний цикл задуман и реализован лишь частично как статьи по истории, экономике, культуре и другим вопросам жизни Донского края. Всего, по имеющимся данным, было написано 12 статей этого цикла, из которых пять было опубликовано в «Санкт-Петербургских ведомостях» и одно хранится в отделе рукописей Пушкинского Дома.

Обзорно-аналитических публикаций по письмам Н. Кукольника нет. Можно отметить лишь статью В. Сажина «Из биографии Н. В. Кукольника» в сборнике ((Исследования памятников письменности культуры в собраниях Российской Публичной библиотеки» (Л., 1985, стр. 198—114) и публикацию В. Вацура «Письма к В. Щасному» в книге «Славянские страны и русская литература», Л., 1973, стр. 65—67.

Ниже помещены три письма Н. Кукольника к разным лицам:

— письмо к неизвестному художнику в Милан, 1835;

— письмо к В. Стасову, 1858 год;

— письмо к Н. Валуеву из Таганрога, 1862 год.

Первое письмо, вероятнее всего, адресовано польскому художнику Каниевскому, с которым Н. Кукольник был знаком еще по работе в Вильнюсской гимназии, где преподавал русский язык. Письмо характерно для понимания взглядов Н. Кукольника, буквально перед тем пострадавшим за «вольнодумство» по одноименному делу: в Нежинской гимназии.

Второе письмо автобиографично. Оно ценно тем, что излагаются взгляды Н. Кукольника на отношения поколений, и, в частности, дается оценка молодому поколению, пришедшему на смену на волне реформ 1860-х годов. Здесь явно просматривается непонимание Н. Кукольником главного качества этого поколения — чувства превосходства человека, полностью распоряжающегося ситуацией.

Третье письмо достаточно полно на конкретном примере показывает состояние власти в Таганроге в середине XIX века.

## ХУДОЖНИКУ В МИЛАН

Собираешь ли ты мои письма? Советую собирать. Я храню каждую свою строчку!

Призадумался я по возвращении нашего Апполодора сделать оригинальный вечер. Все должны прочесть писанное друг другу в этом промежутке письма; объясниться; дополнить воспоминания; этот отчет поможет отчетливости дальнейших наших действий, если стоит действовать. Вам, художникам, еще кое-как; по крайней мере, в Италии вы можете не умереть со скуки и огорчения; У Нас трудно противиться угнетающему недругу; холод в природе, холод в людях, мороз в искусстве. О, если б я мог отчетливо говорить о нынешнем веке.

Век? Неужели известное число лег столько же ступеней то вверх, то вниз. Век? Не шутка ли? Существует ли Век, когда не существует уже ничего определенного, ничего

положительного! У нас теперь в моде сказки; к этому роду люди причислили не только события, но и отвлеченные идеи, и нравственные чувства! Таким образом, Идеи благородства, честности, бескорыстия, пользы, чувства чистой любви, горячей дружбы, человеколюбия, сознания прекрасного — только сказки. Об них рассказывают, об них даже пишут, — но никто им не верит. Горе человеку, не умеющему скрыть добра в хоре умышленного ничтожества; горе художнику, если он обнаружит желание быть бескорыстным тружеником, его преследуют, и весьма справедливо. Он оскорбляется целый век, всю массу нарушений не только законов, но и современников, однако же, <осуждение> всеобщих предрассудков какой-нибудь эпохи — преступление. Всякий благородный порыв принимается за хитрое усилие обмануть толпу и извлечь деньги, существенную пользу\*.

Это доказала нам история, это доказывает нам Современность. — Взгляни на философские системы, — они заключают вернейшие итоги предрассудков каждого времени, взгляни на гражданственность... Гете хотел оправдать Тасса в придворных предрассудках века Альфонсов — и оправдал только себя; это может быть на время, пока сам составляет одним из самых явственных предрассудков XIX -столетия, Шлегель переиздал Шекспира из мести, а мы как дети лепечем заученный урок, е неразум-ном порыве так искусно обманутых чувств. Мстим Бог знает кому за сценические неудачи Шлегеля, который умел скрыть свою оби-ду. Мадам Stael — неумышленно участвовавшая в заговоре, но кто не извинит женщины, даже и без ума! ...Но эти предрассудки еще блистательны, еще не бесполезны; но Вольтер и его век; но Жозепин и его век; но французская живописная школа, но Россини...

Удивляешься и пожалеешь о необходимости, в которую недопоставляет собственная наша нравственная природа.

Письмо не публиковалось. Представляет отпуск с письма. Адресат не указан, но указан адрес. Места, отмеченные\* в подлиннике зачеркнуты.

Можно предположить, что письмо адресовано польскому художнику Канневскому (по другим данным — Каневскому), автору одного из ранних акварельных портретов Н. Кукольника. Об этом можно судить по информации, содержащейся в письме к А. Бакуниной от 24 января 1836 года в Рим, где Н. Кукольник пишет: «Познакомьте меня заочно с Бруни, с Лебедевым, с Иорданом и другими художниками; из них я знаю только одного Каневского...».

## **Н. КУКОЛЬНИК — В. СТАСОВУ**

Милостивый государь Владимир Васильевич! считав Вашего сочинения о Глинке, я не отказал Вам в сообщении моих о нем воспоминаний. Но, прочитав брошюру, я не мог не призадуматься. Чтение повело к такому соображению, что или я НЕ ПОНИМАЮ ГЛИНКИ (что, впрочем, ясно и выражено и в статьях и в письмах Ваших) или Биограф его не понимает. Неприязни у меня к Вам никакой нет, да и быть не могло. За что? Даже и после прочтения статьи я не ощутил к вам лично никакого подобного чувства. Мы, — старики, — отличаемся), говорю только в отношении к музыке; по некоторым же другим отраслям Искусств, слава богу, этой разницы еще незаметно) от молодого поколения тем, что у нас есть ТЕРПИМОСТЬ; мы радуемся независимому мнению другого, даже если - с ним и не согласны; мы не признаем себя не погрешающими Папами Римскими; напротив того, живо сознаем свою слабость; но с тем вместе и не считаем себя уже неспособными, лет ради следовать за наукой, видеть ее успехи и случайные отклонения от истины, и потому не находим себя обязанными принимать без рассуждения все положения новой науки за непреложные законы и отвергать АВТОРИТЕТЫ, ПРИЗНАННЫЕ в угоду авторитетам НЕПРИЗНАННЫМ.

Минуя НИЧЕМ НЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ УПРЕКИ в равнодушии и лени, я укажу только на то место письма Вашего, в котором опять ясно сказано, что мы все ( прежнее поколение ) не понимаем ни музыки; ни Глинки, и что ОЦЕНКА ЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИНАДЛЕЖИТ НЫНЕ РАЗВИВАЮЩЕМУСЯ ПОКОЛЕНИЮ.

Исполать! Вам и книги в руки! Ей богу, от души радуемся, если это окажется правдой на деле. Но после этого, сами скажите, что может быть общего между понимающими и непонимающими! Так пусть же каждый делает то и тогда, что иногда может.

Если я до сих пор не напечатал воспоминаний моих о Глинке, так это, ВО-ПЕРВЫХ, потому, что состояние моего ЗДОРОВЬЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ мне располагать по воле продолжительным СПОКОЙНЫМ ДОСУГОМ, а во-вторых, потому, что боюсь: будет ли изложение этих воспоминаний достойно памяти моего друга и ВНИМАНИЯ ПУБЛИКИ, тем более, что мы, старики, не можем освободиться от недостатка, который прежде считался достоинством, этой ХУДОЖНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, НЕУВЕРЕННОСТИ В САМИХ СЕБЕ, и уверенности в том, что НЕЛЬЗЯ БЕЗНАКАЗНО ПРЕЗИРАТЬ ДРУГИХ, НЕ ПРЕЗИРАЯ САМОГО СЕБЯ. Каждый писатель, каждый художник — еще НЕ УЧИТЕЛЬ; нет; ПИСАТЕЛЬ — ТОЛЬКО ДОКЛАДЧИК — ТОЛЬКО ЗЕРКАЛО ОБЩЕГО ПРОГРЕССА. Вот, видите ли, сколько препятствий и физических и нравственных собралось для того, чтобы замедлить, затруднить появление в печати моих воспоминаний. Но так, как этого требуют все друзья, приятели, знакомые Глинки и незнакомые его почитатели, и именно теперь, ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СТАТЬИ ВАШЕЙ, то, нечего делать, я принялся за обработку моих воспоминаний и, с божьей помощью, надеюсь напечатать их еще в нынешнем году.

Исполнив желание Ваше, а письмо Вашем выраженное, прошу принять еще раз уверение, что я лично и далее неприязненного никакого чувства не питал; никогда и теперь не питаю, а если не разделяю Вашего воззрения на Глинку и с философической и с исторической сторон, то мне кажется, Вы сами уже и в статье, и в письмах определили тому причину, и потому и пенять на меня не за что.

Впрочем, всегда с истинным уважением и совершенной преданностью имею честь быть Вашим Милостивый государь Покорнейшим слугою С.-Петербург 6 марта 1858 г. Письмо не публиковалось. Хранится в Отделе рукописей РНБ, С.-Петербург.

\*Эти очень важные констатации вместе с замечаниями, высказанными в «Сыне отечества», раскрывают причину того, почему Н. Кукольник так и не написал воспоминаний о М. И. Глинке и почему им был избран для этих воспоминаний жанр дневника.

## **Н. КУКОЛЬНИК — П. ВАЛУЕВУ**

С особым отвращением принимаюсь за перо. Мне чрезвычайно тягостно на кого бы то ни было жаловаться, но терпению есть мера, и приношу жалобу Вашему Превосходительству на нестерпимый произвол и самоуправство Таганрогского градоначальника контр-адмирала Лаврова.

Валуев Петр Александрович (1814—1890), граф, государственный деятель эпохи Александра М. Б 1858—1861 годах был директором двух Департаментов Министерства государственных имуществ. В 1861—1868 годах — министр внутренних дел. В 1872—1879 годах — министр государственных имуществ. С 1879 года Председатель Комитета министров.

Пытался занимать среднюю линию между либеральными демократами и консерваторами. Это можно подтвердить примерами. Так, 11 мая 1861 года великий князь Константин Николаевич записывает в «Дневнике»: «читали казанскую речь Щапова, его записку и письмо Государю. Валуев его спас тем, что взял его к себе». Напомним, что Щапов Афанасий Прокофьевич (1831—1876), историк, публицист. Стал известен благодаря своей речи после панихиды по убиенным в с. Бездна крестьянам.

Второй пример относится к работе над проектами реформы 1861 года, когда члены Редакционной комиссии М. Н. Муравьев и В. А. Долгоруков предложили свой проект решения по земельному вопросу. Сущность этого проекта заключалась в максимальном сохранении дворянской земельной собственности, в выделении

крестьянам минимальных наделов по усмотрению дворянства каждой губернии («нормальные наделы»). П. Валуев помог авторам оформить и изложить эту позицию, которая при голосовании была отклонена.

Занимался литературной деятельностью. Его «Дневники» опубликованы. «Дневник 1847—1860» см. «Русская старина», 1891, №№ 1—11; «Дневник 1861—1876», т. 1—2, М., 1961; «Дневник 1877—1884», Петроград, 1919.

Продолжительная болезнь заставила меня оставить службу, литературу и неблагоприятный климат Санкт-Петербурга. Переселиться за границу совсем — было как-то совестно. Я избрал климат г. Таганрога и четыре года тому назад переехал туда на житье. Жена моя купила дом в городе, я — за заставой, но в городской черте дом с небольшим участком земли, принадлежащие 2-й полицейской части Таганрога. Сначала я пользовался особенным вниманием г. Лаврова, но когда разные поступки его обнаружили побуждения, которых ни правила мои, ни совесть не могли одобрить, то естественно я старался отойти от Лаврова как можно подальше.

В начале прошедшего года при выборе членов в комитет по устройству городских сообщений в Таганроге общество дворян, купцов и мещан совместно удостоило меня почти единогласно, избрать, и г. Градоначальник утвердил меня в этом звании. По совести я не мог уклоняться от этого комитета, потому что намеревался жить в Таганроге. Я не мог оставаться равнодушным зрителем произвольной растраты городского достояния, и в ново утвержденном комитете, видя значительный источник городского дохода, усматривал возможность, если дальнейшей пользы для города на первый год извлечь и не удастся, то, по крайней мере, сохранить доход этот в целости. Соображения мои оказались совершенно верными. Правда, не дали вымостить и переулка, но в утешение нам осталось, по крайней мере, то, что ни одна копейка из сбора мимо городской казны! не проскользнула. Но при таком направлении действий комитета, с самого его открытия до конца года, мы должны были испытывать беспрестанные неприятности, доходившие до ругательных на наш счет официальных отзывов. Законы, права наши, все было ниспровержено, можно сказать, ежедневно. Мы искали защиты у генерал-губернатора — напрасно. Презирая достойное презрение, мы не отступали ни от закона, ни от совести.

Заметим, однако, что превратными рассказами, нескончаемыми собраниями, письменными адресами стали стремиться поколебать доверие к нам граждан; я решился изложить в журнальной статье с некоторыми подробностями весь ход дела и представить наши действия на суд граждан и публики, не без именно, но за моею подписью, приводя только наши факты, которые основаны на официальных документах. Цензура нашла статью неудобной к напечатанию. Я принужден был лично беспокоить Ваше высочество, и Вам угодно было на содержание этой статьи обратить внимание генерал-губернатора. Но до этого уже, одновременно с пребыванием моим в СПб, в Одессе, уже не знаю почему, вдруг дали движение представленной нами записке, и, в исходе февраля нынешнего года, т. е. спустя 6 месяцев, когда уже и состав комитета изменился, получено предписание генерал-губернатора, которым все наши распоряжения были оправданы. За что же меня в награду наших добросовестных трудов в течение почти года подвергли даже оскорбительным неприятностям?

Во время моего пребывания в Санкт-Петербурге назначены были в Таганроге новые выборы в члены комитета. Общество в полном составе опять, почти единогласно, избрало меня в члены, но, к общему удивлению и личному оскорблению, Лавров не утвердил меня на том основании, что не я, а жена моя имеет дом в Таганроге, и приказал произвести выборы вновь, и уже не в полном составе, а по сословиям.

Из числа дворян-домовладельцев, которых здесь более 100, избрано только 20, которые удостоены приглашения полиции по своему выбору. Дворянские выборы были произведены под председательством купеческого головы! Несмотря на все это, Лавров признал эти выборы законными и утвердил членов!

Возвратясь в Таганрог, я счел долгом чести обратить на такие действия Лаврова внимание исправляющего должность генерал-губернатора, объяснив, что, во-первых, я мог быть избран в члены комитета как муж домовладелицы..., во-вторых, что я сам домовладелец, ибо мой дом находится в городской черте, в-третьих, я уже был избран и утвержден в том же самом звании. Это значит, <что> тогда или теперь было сделано противозаконно.

На эту просьбу я не получил вообще ответа. На мое частное письмо тоже не ответили. Видя, что бывший здесь полковник Завидовский, командированный из Одессы в Таганрог для дознания, якобы многочисленных злоупотреблений, о которых, как рассказывают, разными путями доведено до сведения Высшего Правительства, — не обратил ни малейшего внимания на оскорбительные для меня распоряжения Лаврова, тогда как ему в особенности поручено было войти в рассмотрение действий градоначальника по нашему комитету. Но со мной даже не встретился, из чего я сделал вывод, что в Одессе мне нечего искать справедливости.

Между тем благодетельные распоряжения Вашего правительства в начале мая обрадовало Таганрог возможностью и надеждою на более соответственное переустройство городского положения. Всем было известно, что сведения и соображения по данной Министерством программе должны быть представлены к октябрю, а таковых по Таганрогу немало, и собрать и обсудить их нелегко; но прошел май, прошел июнь, а комитет к общему удивлению и досаде не открывался. Наконец, в начале текущего июля назначены выборы опять по сословиям. Вместо предводителя дворянства градоначальник поручил провести выборы председателя Коммерческого суда, даже не спросив дворян: угодно ли им своим предводителем иметь г. Алфераки. Полиция по выбору пригласила только 14 человек. Собравшиеся просили оповестить других, отложить выборы на 10 июля. Собралось 44 избирательных голоса. Дворяне без соблюдения формы приступили к выборам и в самом начале обратились ко мне с просьбой принять участие в занятиях комитета. Я предъявил свои избирательные права, т. е. полномочия жены, вводный лист на свой собственный дом, но тут же просил уволить меня, ибо не желаю подвергаться новым оскорблениям со стороны Градоначальства. Дворяне в присутствии исполняющего должность прокурора нашли права мои неоспоримыми и настоятельно потребовали моего согласия. Я уступил неохотно, потому что четырехлетним опытом убедился, что закон для Лаврова не имеет значения. Из 44 я получил 39 шаров. Но Лавров и этот раз устранил меня от столь важного общественного дела, заявляя, что я не домовладелец и собственности в Таганроге не имею, Значит, я лишен права таганрогского гражданина, с чем ни я, ни сограждане не согласны. Защитите, оградите от такого грустного и вредного произвола.

Упрямое невнимание к общественному мнению и покровительство, какое до ныне оказывалось Лаврову, заставило молчать многих, потому что жалобы оставляют без последствий, а из мести и злобы каждому, самому мирному гражданину, местный градоначальник может сделать зло и хлопоты. Поверьте мне, хотя многое кажется невероятно.

Удостойте поручить лицу, Вам лично известному, которое без сомнения будет чуждо корысти и пристрастия, вникнуть на месте с нами в безвыходное положение, без чего нельзя ожидать, чтобы состояние <...> какие-либо комитет по этому важному делу; из всей семьи русских городов один Таганрог по капризам Лаврова не воспользуется дарованным правом представить Министерству свои истинные средства и потребности.

Ваш покорный слуга Н. Кукольник.  
Таганрог. 17 июля 1862 года.

Письмо не публиковалось. Получено от исследователя В. Абрамова (Петербург) в виде машинописной копии. На письме имеется резолюция с обращением к «Павлу Евстратьевичу». Почерк трудночитаемый и неразборчив.

**Публикация А. Николаенко.**

ЦГПБ имени А.П. Чехова